

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

АКСИОМАСАМОИСКА

АКСИОМАСАМОИСКА

АКСИОМАСАМОИСКА

ОЛЕГ
Андрей

А
К
С
И
О
М
А
А
К
С
И
О
М
А
С
А
М
О
И
С
К
А
А
К
С
И
О
М
А
С
А
М
О
И
С
К
А

АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

СП «ИКПА» 1990 г.

4702010206—06

В _____ без объявл.

939—90

ISBN 5—85202—005—2

© А. Вознесенский
СП «ИКПА»

А
К
С
И
О
М
А
А
М
О
И
С
К
А
А
К
С
И
О
М
А
С
А
М
О
И
С
К
А

АВТООТВЕТЧИК

Литургия лет

**«Господь, помилуй меня,
Господь, помилуй меня,
восславим Господу славу и честь...»**

**Летят «афганцы» в гробах,
Не заживет Карабах.
Неужто страшная месть?
Тысячелетье Руси —
тысячелетье души.
Пришло ей время воскресть.**

**Страну помилуй, Господь,
народ, что пущен в расход...
Откуда ж певчие в душу вошли?
Раскол. Тиран пучеглаз.
Россия самосожглась.
Есть черный ящик души.**

**Душа несется, моля:
«Помилуй, Яков, меня...»
«Восславим деспоту славу и честь!»
Взрывают храмы. Салют.
Свидетелей ликвиднут.
Души черный ящик есть.**

**Есть в черном ящике том
«Христа Спасителя» стон
духоизмещением в тысячи тонн.
И брошенное дитя
все спрашивает, глядя:
«Что в черном ящичке том?»**

Душа, помилуй меня,
зажги свечей имена,
за то, в чем косвенно все мы грешны,
за то, что душу забыл,
болит, кричит что есть сил:
«Я — черный ящик души».

Народы в креслах сидят,
народы в «ящик» глядят.
Восславим горстку, кто жил не во лжи!

Сгорит планета людей.
Летит меж Млечных путей
черный ящик души.

1987

+ + +

Для всех — вне звезд, вне митр, вне званий —
Андреем Дмитриевичем был.
Мы потеряли Первозванного,
что совестью страну святил.
Он первым произнес все заново.
Тезка крестителя Руси.
Как мало избранных меж званых...
Господи, страну спаси!

Комендантский час

**В комендантский час
лодку заглуши.
Опасной бритвой волна зажглась.
Патрули стоят
по краям души.
Отмените в нас
комендантский час.**

**В магазине пусто
в комендантский час.
Только у Калашникова полон магазин.
Автоматизируется
сознание масс.
В жигулях летит
пулемет «Максим».**

**Крик крестьянки
слышится с похорон.
«Я двоих вскормила из двух грудей.
Это были мальчики
двух кровей.
Им сосок давала,
а не патрон».**

**Ночь глуха. Истории темен крот.
«Остановите кровь!
Остановите кровь!»
И охрипший Павел зовет с ней:
«Ни эллин, ни иудей...»**

От одиннадцати до шести —
в «Отче наш», в намаз,
в комендантский час —
как медянка, кровь
в нас шуршит, таясь.
Что угодно может произойти.

Где не спишь сейчас,
мой миндальный глаз?
Пополам загар разделил живот.
Кто твой предок? Скиф?
Грузин? Абхаз?
Хоть вводи в тебя
комендантский год.

Поглядишь в себя —
там такой разор.
Кровь с Душой ведут тысячелетний спор.
Две толпы сошлись
в ружьях у ручья.
Понеслась страна
центробежная...
И крестьянка в черном кричит, как рок:
«Остановите кровь!
Остановите кровь!»

Как повязки глаз,
флаги черных лент.
Прости, Господи, ослепленных нас!
Третья Стража
требует документ.
Тысячелетье рас.
Комендантский час.

+ + +

**«Не возникай,— скажу я,— дура
нелепая, не возникай!»
Не возникай в привычках, думах,
во всех оконных сквозняках.**

**Не возникай. Я наг и грязен,
как Одиссей у Навзикаи.
Не возникай за гранью разума
и психики, не возникай!**

**Когда я не с тобой бываю,
хотя бы там не возникай,
ты, будущая и бывшая,
не возникай в чужих звонках.**

**Не возникай волнения запахом,
в тьму зала дверь приотворя.
Дрожит за дверью с медной запонкой
полоска тельная твоя.**

**Ты невозможна! В полвосьмого
не возникай, ни в два, ни в шесть.
Ты в этой жизни невозможна —
только поэтому ты есть.**

Ипатьевская баллада

Морганатическую фрамугу
выломал я из оконного круга,
чем сохранил ее дни.
Дом ликвидировали без звука.
Боже, царя храни!

Этот скрипичный ключ деревянный,
свет законный, узор обманный,
видели те, кто расстрелян, в упор.
Смой фонограмму, фата моргана!
У мальчугана заспанный взор...
— Дети! Как формула дома Романовых?
— НСИ!

Боже, храни народ бывшей России!
Хлорные ливни нам отомстили.
Фрамуга впечаталась в серых зрачках
мальчика с вещей гемофилией.
Не остановишь кровь посеичас.

Морганатическую фрамугу
вставляю в окошко моей лачуги
и окаянные дни протяну
под этим взглядом, расширенным мукой
неба с впечатанною фрамугой.
Боже, храни страну.

Да, но какая разлита разлука
в формуле кислоты!
И утираешь тряпкою ты
дали округи в раме фрамуги
и вопрошающий взор высоты.

+ + +

Когда я когда-нибудь сдохну,
не мучай травы и грибниц,
на эту последнюю хохму,
поняв меня,— улыбнись.

Когда пойдешь ночью с покупками —
то я впереди пробегал
и длинные ртутные трубки
на черных стволах зажигал.

Узнай меня через пустошь,
приметы замашек моих...
А если ты в городе будешь —
то я тебе вызову лифт.

Ответ на записку

**Все пишут — я перестаю.
О Сталине, Высоцком, о Байкале,
Гребенцовике и Шагале
писал, когда не разрешали.**

Я не хочу «попасть в струю».

После сигнала

**«Я автоответчик
в вашем распоряжении одна минута
отвечайте после сигнала:**

- Звонила Алла
подпишите приветствие борющемуся Сенегалу.
- Поговори со мной. Мне худо
- в вашем распоряжении одна минута.
- Ответишь за Шагала,
паскуда,
в твоём распоряжении одна минута.
- Я вам послала поэму
спросить Эмму.
- Записывай. Я глас Оттуда,
небесной информации утечка.
- Я Манюта
группа Σ пос
приглашает в Старую крепость
как вы насчет узбечек?
- Говорят поэты из «Вертепа»
небо — слепо
- вы автоответчик Вознесенского?
Говорит автоответчик Таривердиева.
Наших хозяев пора привлечь по вердикту.
Да здравствует международная солидарность
автоответчиков.
- Как же! Ответил волк за овечек!
Я за им гналаси
а он восвояси
- Ответим на происки Хайли Селаси!

— Вы меня не знаете. Я Афанасий.
Убили отца. Кишиневская мафия
— Верните поэму
спросить Эмму.
— Вы Афанасий?
— Я Манюта,
— В вашем распоряжении одна минута.

Я автоответчик.
Я отвечаю
от Черной речки и до Камчатки
за век увечный вопросов вечных,
за чадо малое, за пошлость «чао»,
за радиацию в брикетах чая,
за порн парнасский, за звук фонащий,
за хрип твой порванный, Афанасий!

Талмуды. Будды. Христы. Иуды.
В вашем распоряжении одна минута.
Отвечайте после сигнала...
После сигнала...

слепо...
гналаси...
слепослепослепослѣдслепослепослеПОСЛЕ
гналасигналасигналаСИГНАЛА

Прощание с микрофоном

**Театр отдался балдежу.
Толпа ломает стены.
Но я со сцены ухожу.
Я ухожу со сцены.**

**Я, микрофонный человек,
я вам пою век целый.
Меня зовут — XX век.
Я ухожу со сцены.**

**Со мной уходят города
и стереосистемы,
грех опыта цвета стыда,
науки «нота бене»,
и одиночества орда —
вы все уходите туда —
и в микрофонные года
уходит сцена.**

**На ней и в годы духоты
сквозило переменой.
Вожди вопили: «Уходи!»
Я выходил на сцену.**

**Я не был для нее рожден.
Необъяснима логика.
Но дышит рядом стадион,
как выносные легкие.**

Мы на единственной в стране
площадке без цензуры
смысл музыки влагали в не-
цензурные мишуры.

Звучит сейчас везде она.
Пой, птица, без решеток!
Скучна
мне сцена разрешенных.

К тебе приду еще не раз —
уткнусь в твои колена.
Нам невозможно жить без нас!
Я уйду со сцены.

Люблю твоих конструкций ржу,
как лапы у сирены.
Но я со сценой уйду,
я уйду со сценой.

Мчим к голографий рубежу.
Там сцены нет, что ценно.
Но я со сценой уйду,
я уйду со сценой.

Благодарю, что жизнь дала,
и обняла со всеми,
и посадила на крыла.
Они зовутся Время.

Но в новых снах, где ночь и Бог,
мне будет сцена сниться —
как с черной точкою желток,
который станет птицей.

+ + +

Ты мне никогда не снишься.
Живу Тобой наяву.
Снится все остальное.
И это дурные сны.

Спишь на подушке ситчика.
Вся загорела слишком.
Дышит, как чайное ситечко,
выбритая подмышка.

Набережная Софийская!
Двери балконной скрип.
Медвяная метафизика
пахнущих Тобой лип.

Аксиома стрекозы

На левосторонних трассах,
на путях правосторонних,
на путях потусторонних,
там, где аксиома власти
махнет огненной палкой,
в аксиомах «влево», «вправо»
жизнь я прожил не без риска.
Есть единственная правда —
аксиома самоиска.

Умирая, мне татарин,
высланный из Симеиза,
впившись в полумесяц миски
алюминиевой, в замызге
подарил это заклатье.

Но сказал: «Не будешь счастлив».

Это пицут на вершинах
снежный человек и Ницше,
на левосторонних книгах,
на правосторонних книгах,
на броске самоубийства,
на самопознание наций
и на аксиоме Бога,
на губах авантюристки —
аксиома самоиска.

Но распятые ладони
аксиомы человека
путь указывали людям
то ли — влево, то ли — вправо...

**Я искал на перекрестке
трассы духа с трассой Минской.
Слезничок сверкал лиловый
женщины самофракийской —
с крыльями, но безголовой.**

**В небе, как над рестораном,
букв горел порядок странный,
и в глазах сырые искры
я читал наоборотно:**

А

К

С

И

О

М

А

С

А

М

О

И

С

К

А

**И она сказала: «Кисик!»
Современная мадонна
опровергла аксиомы
постбрижитбардовских сисек.
Что считалось аксиомой
групп повышенного риска,
стало нормой в каждом доме
и в номенклатурных списках.**

На любви односторонней,
на любви наоборотной,
и на голубом пороке,
и на ненависти белой,
и на золотой разлуке
лишь — не высказать без виски! —
аксиома самоиска».

И сказал идущий мимо
в маскировочных болотах
с трупом музыки в футляре:
«Что написано на майках?
Что написано на лейблах
наших лейблгвардейских задниц?
Что написано на бунте
в стиле рока или диско?
Преодолевайте дисгармонию,
как учит Дзига».
В каждом самодоказуема
и законом наказуема —
чур, не путать с самосыском! —
аксиома самоиска.

Мухой полз Буонарроти,
крася на плафоне Сикста
Рай и Ад наоборотный —
аксиому самоиска.

Жил я в аксиоме Рая,
чуя аксиому Ада,
жизнью, а не самопиской,
и потерей самых близких
оборачивалась наша
аксиома самоиска.
Как я поздно слишком понял —
утаил татарин с миской —
смысл не только в самопоиске,
а к себе открытым иске!

Прости господи стояла
у машинного потока,
морща лобик новой мыслью.
Хмуро вглядывалась в диски.
Замирала вместо лейбла
изумрудная стрекозка
на малиновой скуле.

Прости господи, машины,
прости господи, летели.
Что ты в них искала? Прынца
в «Волге» папы? Или папу
с пачкой зелени искала?
Почему не подошел я?
С полчасика ты столбенела
в напряжение. Вдруг, зажмурясь —
мол, ищите меня в волгах! —
Молча бросилась под тачку.
Среди тормозного визга
я ее не видел дрызга.
Прости, Господи, таксиста!
Срок мотать за проститутку?
Прости, Господи, эпоху.
Прости, Господи, страну.

Голова в крови скакала
по шоссе, сверкнув стрекозкой.
Что кричал открытый ротик
рядом с отскочившим диском?

Ни молитвы. Ни записки.
Прости, Господи, тебя.
Изумрудная стрекозка
рядом в воздухе стоит.

Прокрути обратно, Дзига!
Выпрыгни, скула, к стрекозке!
За ней — лобик, за ним — тело.
Встань с асфальта!

Дыши. Брысь в гараж, машина!
Жизнь, крути обратно диски!
«Как зовут тебя?» — Лариска.
Долго же я на игле торчала...»

Жизнь — лишь поиск воскресенья.

Мы стоим на перекрестке
трассы духа с трассой Минской —
вгиковский студент. Стрекозка.
Тени. Женщина с заминкой
в речи. Пес с ухом Мефисто.
И татарин симеизский.
Ужас от пережитого,
духа грязные поминки —
оглянись — полно народу.
Все глядели в небо.

Где горит, как над воротами
перед выходом по списку,—
жизни крест наоборотный

А
К
С
И
О
М
А
А
АКСИОМА САМОИСКА
А
М
О
И
С
К
А

+ + +

Тебе на локоть села стрекоза
и крыльями перебирает,—
как будто кожи близорукие глаза
спокойно стекла примеряют.

+++

Читаю небо, став душою зорче.
«Я + Ты» — написано окрест.
Окончив труд, неграмотные зодчие
ставили в небе крест.

«Ястреб + облако» — написано над местностью.
Гора + город. Даль + даль.
+ золотая неизвестность,
+ просветленная печаль.

А к вечеру Луна + Солнце,
подчеркнутые линией хлебов.
«Я + Ты» — стоит над горизонтом.
«Небо + я = любовь».

Из жизни крестиков

Шел крестик

+ + +

Летели две палки. Одна — на Север, другая — на Запад. На асфальте их тени совместились — получился крестик.

— Палки, не разлетайтесь, пожалуйста, а то я исчезну!

— Извини, крестик, нам пора.

+ + +

Шел крестик по дорожке.

Видит, толпа крестиков на ветке.

— Вы районное совещание крестиков?

— Нет, мы — сирень.

Загрустил крестик. Только развел руками.

Пошел дальше.

+ + +

Идет, видит — черные крестики встали друг на друга, гимнастическую фигуру составляют.

— Физкульт-привет, миру — мир! Можно, я с вами встану на минутку?

— Пожалуйста! Мы — тюремная решетка. Присоединяйтесь.

— Извините, я тороплюсь.
Он только развел руками.
Мы потом расскажем, куда он спешит.

+ + +

Человек произошел от обезьяны. От кого произошли крестики? Из человека. Если покойника посадить в землю (и поливать), вырастает крестик.

Но многие считают, что они внеземного происхождения.

+ + +

Крестик первым открыл Америку. Он сидел на мачте.

+ + +

Говорят, что крестик сбросил бомбу на Хиросиму.

+ + +

Крестик испугался СПИДа. Пошел в аптеку. Купил.

— А на какой кончик надевать?

— А вы читали басню «Мартышка и очки»? Примеряйте экспериментальным путем.

+ + +

Когда крестики выбирали министра водного хозяйства, он стоял на трибуне и показывал, растопырив руки: «Во какую рыбу ловить будем!»

+ + +

Пришла к крестнику в гости женщина.

— Крестик, можно я на тебя кофточку повешу,
только ты не двигайся, а то кофточку
сомнешь.

Разделась. Легла. Подождала. Уснула.

Крестик до утра простоял, боялся пошевелиться.

+ + +

Когда крестики объявили забастовку, все тетради «в
клеточку» стали — «в линейчку».

Мало того. Все ткани распались, и все люди на улице
оказались голыми. Только на одной женщи-
не осталась красная кожаная юбка. О чем
она очень жалела.

+ + +

Один крестик может одновременно:

пожать руки сразу четырем избирателям,
или

снять четыре телефонные трубки,
или

снять две трубки и пожать руки двоим,
или

на приеме взять виски, шампанское, бутерброд с кол-
басой и сосиску,
или

указать народу одновременно
четыре направления пути вперед.

+ + +

Пришел крестик за визой.

— Вам в Израиль?

— Нет, я как воссоединение семей.

— Вы муж или жена?

— Нет, я само воссоединение, я знак «плюс». Например, Джон + Дарья, Владлен + Пегги...

— Им — да, а вам — не положено.

Заплакал крестик. «Зачем же я полгода отмечался?»

Только развел руками.

+ + +

Крестик вместе с Лениным нес бревно на субботнике. Потом к их шеренге приплюсовалось так много крестиков, что на карточке не умещалось.

+ + +

Взяли крестика в армию. Строевым шагом у него отлично получалось. «Строевым, кругом — арш!» Взяли крестика в кремлевские курсанта.

+ + +

Когда на крестиков были гонения, крестик купил тросточку. И прикинулся пятиконечной звездочкой.

+ + +

Тетя крестика была балерина.

Она стояла на одной ноге на углу ул. Горького на крыше над магазином «Армения» и, подняв под прямым углом другую, делала фуэте. Потом, наверно, устала, вышла замуж и уехала в Эривань.

+ + +

Как-то ехал крестик по ул. Горького на белой «Волге». Поднял глаза на тетю. Увидел — смутился.

Крестик покраснел.

Так произошла «Скорая помощь».

+ + +

Крестики очень любили картину «Бурлаки на Волге». Они так долго изображали ее, что получилась колючая проволока.

+ + +

Напился крестик, пришел домой на руках.

— Ты что, знак умножения?!

+ + +

Враги у крестика — нолики. Это ему бабушка говорила.

Не послушался крестик. Женился на нолике.

Получился оптический прицел.

+ + +

Когда жена бросила крестика и уехала в Сочи, он глядел вслед из оконной рамы и плакал.

+ + +

Крестики не умели ни читать, ни писать, но они любили подписывать приказы. Известны три романа и семь мемуаров, подписанных крестиками.

+++

Приехал Кестлер в Россию. На таможне его не изъяс-
ли.

— Я хотел бы в Суздаль.

— Пожалуйста. Наверное, политический изолятор
посмотреть?

— Нет, я переводил стихи «В России живу меж
снегов и святых».

Розовый такой. Жена молодая.

И «Первый лед» перевел. Миллионы кристаллических
крестиков замерзли на окнах телефонной
будки.

— Да не Кестлер! Это приезжал Роберт Конквист.
Мы с ним знакомы по Вашингтону. И «Пер-
вый лед» переводил. И «Большой террор»
написал. А все остальное правильно.

+++

Когда нолики победили крестиков, они положили
пленных парами, в затылок друг к другу,
в два ряда. Получилась железная дорога.
По ней ездили нолики.

Потом крестики победили ноликов. Они гуляли по
платформе, ездили на ноликах, выглядывая
из окон вагонов. Железную дорогу они оста-
вили себе.

+++

— Лягте на живот, расслабьтесь, ноги на уровне
плеч. В вас вставят новогоднюю елку.

Не двигайтесь. А то с нее крестики осыпаются.

+ + +

Бегут два крестика, взявшись за руки.

Навстречу четыре звездочки.

— Вы — коньяк?

— Нет, мы — четырежды герой.

— Очень приятно.

+ + +

Крестики постоянны в любви. Крестик поднял возлюбленную на руки. И не знал, куда положить — все было недостойным ее. Так они и умерли — Она на руках у Него.

Крестик — памятник вечной любви.

Приснись, ресничка

(Сценарий)

+ + +

Летел крестик по небу. Навстречу — ресничка.

— Давай жить вместе.

**— Только чур ножкой не дрыгать. И не подмаргивать
всем встречным.**

+ + +

Смотрите! Летит по небу пятипалый крестик сирени.

+ + +

**Как летали они! Она часто вздрагивала, влажнела —
но это были слезы счастья.**

**Два раза во сне они слышали мелодию из «Крестного
отца».**

+ + +

**Она рассказывала ему свою жизнь. Как после школы
пошла в письмоноски. Как сорвалась, как
падала, как, ее мелко-мелко перекрестив, ки-
дали кому-то за пазуху.**

**«К письму! К письму!» — и на зов ее летели крест-
накрест клеенные синие конверты.**

Он ревновал, но еще крепче срастался с ней.

+ + +

Однажды он проснулся — нет реснички. Может, она в ванной?

Сливает избыточные слезы? Подождал — нет нигде. Слева болела ранка разрыва.

+ + +

Журавли, вы не видели моей реснички? Кот на крыше, ты не видел реснички? Веник, ты не видел моей реснички?

Издали доносилось из «Крестного отца»¹.

Пошел крестик по стране.

+ + +

Он шел по городкам, которые кипели крестиками, как вязаные носки или муравейники, он шел по штопаным деревушкам, по полям, вышитым васильковыми крестиками, по нарядным толпам тротуаров, как шарфы «Ади-дас».

Он шел и только разводил руками.

«Выневиделиреснички?»

Но никто не знал о ресничке.

+ + +

Крестик пришел к Эрнсту Неизвестному. Скульптор разорвал ему грудь пополам, всунул нолик, а ноги закрутил плоскогубцами. И повесил его на стену в Ватикане.

— Ваши святейшества, я извиняюсь, но Вы не видели моей реснички?

+ + +

Крестик влетел в окно гостиной. Он запел, он взял самую высокую ноту. Он пел о ресничке. Люди бросились к нему, захлопали в ладоши. Хлоп! Хлоп! «Малырийный!»

«Аплодисменты опасны», — решил он. Полетел дальше.

+ + +

Крестик, как лунатик, залез на крышу. Там много крестиков стоит. Идет, руками балансирует. Навстречу влюбленный голубой кот.

— Крестик, я на тебе погадаю. Любит — не любит, плюнет — поцелует.

Оторвал руки-ноги. Осталась от крестика одна точка.

— Ничего, опять отрасли. Зато ты помог другу.

+ + +

Пришел крестик к Ростроповичу.

— Маэстро, скажите, пожалуйста, почему я всю жизнь по пузу смычком вожу, а музыки не получается?

— А Вы пробовали натирать себя канифолью?

— Извиняюсь, кстати, авыневиделимоейреснички?

+ + +

На дубу сидели две черные «Волги». Хлопали дверцами, каркали.

— Крестик, иди к нам, будешь работать соединительной штангой на руле.

— Ну да, вы же обломаете мою четвертую ногу. Ведь вам для руля нужна трехлучевая переключательная. Извините, авыневиделимоейреснички?

— Кр! Кр! Жми по трассе до перекрестка, а там
направо, в смысле налево, за ГАИ.
И засигналили ему вслед музыкальным клаксоном из
«Крестного отца».

+ + +

Когда он очень тосковал, он вставал на перекрестке
и играл на флейте. Из-за холма ему слабо
отвечало эхо из «Крестного отца».

+ + +

Джойс назвал женщину флейтой с тремя дырками.
Крестик не считал. Балдел от музыки.

+ + +

Крестика поймали. Завязали руки над головой. Ско-
вали кисти рук и ног. Бросили на асфальт.
Он пытался высвободиться, раздувал коль-
цеобразно локти и колени — и так до беско-
нечности.
Бесконечность — это скованный крестик.

+ + +

В вытрезвителе крестик сломали руки и ноги. За-
гнули.
— Мы докажем, что фашист!
Какой он фашист? Просто перебитый.

+ + +

После этого крестик стал икать. Он всю дорогу икал.
— Я крест-ик,— знакомился.— Вот те крест-ик...

+ + +

У подмосковного шоссе на постаменте стояли противотанковые ежи.

— Группенсекс крестиков,— сказал иностранец. Он загрустил.

+ + +

Долго шел он. И он только разводил руками.

+ + +

В центре Вселенной возлежал Крестный Отец на красном складном швейцарском ноже. Под ним таились четыре лезвия из привилегированной стали, ножницы, крылья, пила, штопор, лупа и пинцет для ресниц.

В экстренных случаях КО вынимал из-под пурпурной полы отвертку для магнитофона (с крестообразным сечением), как корень воспроизводства.

Звучало из «Крестного отца».

+ + +

Если магнитофонную отвертку нашинковать мелко-мелко, то получают отличные стальные крестики. Они годятся в пищу. Они не содержат пестицидов. Они сохраняются в организме человека 170 лет, не ржавея. И подают сигналы.

+ + +

КО возлежал и рассматривал в лупу ресничку, которая танцевала перед ним на хрустальном шаре, нет, на круглой слезе.

+ + +

— Авыневи... Отдайте, пожалуйста, мою ресничку!
— А это еще кто? Крестьяка! Тоже мне сюрпринц! Мы уже давно завершили раскрестикование страны. Послать его на лесозаготовки.

+ + +

Привилегированные схватили. Последнее, что он видел,— ресничка поскользнулась и упала со слезы. Ее подняли щипчики для ресниц.

+ + +

Вместе с ним миллионы крестиков пилили деревья. Крепчали морозы. Они превращались в кристаллы. 20 лет прошло. 20 зарубок оставил крестик на столбике.

Два раза видел, как в синем небе пролетал красный нож, растопырив лезвия.
Звучало из «Крестного отца».

+ + +

Освободился. Пошел по стране. И только разводил руками.

+ + +

КО возлежал на красном ноже. Перед ним плясала ресничка, окруженная хороводом из 18 дочерей. Ах, б...!

КО навел лупу на прищельца. Крестик почувствовал, что его руки гигантски стали расти, как лучи у прожектора или штанги у строительного крана. У него руки великана!

**Бац! Это крестик ударил по красному ножу. Лупа —
вдребезги. Наш герой опять стал крохотным.
— Сволочь! Ублюдок! Я лично раздавлю его. Посяг-
нул на красную систему.**

+ + +

**Поединок! Поединок! Сверкнули ножи, ножницы. Рев
из «Крестного отца» в 100 децибелов. Все
удары нашего крестика ломались о красную
броню. Отсечены две конечности нашего
героя.**

**У КО есть коронный удар. Он ставит жертву к дере-
вянной стенке, разбегается, выставив глав-
ное лезвие, делает через голову мертвую пет-
лю — и бьет насквозь, вбивая несчастного
вместе с лезвием на ту сторону стенки.**

**Конец крестик! Он вжат в стенку. Коронный!!!
Но что за голубая молния метнулась попе-
рек броска?!**

**Ты, Гол. кот?! Ты заслонил собой товарища. Пол-
лапы нету! Но удар ножа отклонился на
каких-то два миллиметра. Крестик спасен.
Нож по рукоять вошел в стенку, застрял.
Ресничка моя, что ты моргаешь мне? По-
нял! Собрав последние силы, крестик прыга-
ет на пытающегося высвободиться КО
и впиливается в его соединительный винт. Вы-
винчивает его!**

КО распадается на элементы.

+ + +

**— Ура! Мы всегда были за демократию и плюра-
лизм! Тиран умер — да здравствует новый
Крестный отец!**

**— Нет, друзья, я только крохотный крестик. Подой-
ди, Гол. кот, обопрись на меня.**

«Мы еще не квиты,— сказал Гол. кот.— Я тебе должен еще три лапы».

— Я только умею играть на флейте. Я отоюду на минутку, успокоюсь. Я не крысолов, я крестик. Я сыграю вам и уйду.

— Возлюбленный, я была в плену, я всю жизнь любила только тебя. Я никогда ни с кем так не летала по небу, срастаясь в пятипалый цветок сирени.

— И я люблю тебя. Я только хотел, чтобы ты была счастлива. Я ни с кем так не летал, как с тобой, срастаясь в пятипалый цветок...

Он заиграл на своей флейте. Никогда я не слышал такой флейты. Когда звуки смолкли, все оглянулись, утирая слезы, и стали искать крестика.

Крестика нигде не было.

+ + -

Говорят, его видели в Ижевске. Иногда его флейту транслируют по радио.

+ + +

Когда крестик умер, его закопали в землю.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали?

Выкопали, перевернули вверх ногами. Снова закопали.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали?

Выкопали, перевернули вверх ногами. Снова закопали.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали?

Выкопали, перевернули вверх ногами. Снова закопали.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали?—

Пусть живет!

ПРИЛОЖЕНИЕ:

текст слов «Крестного отца»

Твоя ресничка мне упала на плечо.
Еще дремали мы, обнявшись горячо.
Ее я взял перекрестить,
чтоб, по примете, мне за ворот опустить.

Это знак писем и надежд.
Но —
на нас с тобою тогда не было одежд.

Приснись, ресничка улетевшая, вернись,
Закат брусничный нас унес на вороных.
Мчится дней черный сериал.
Я потерял тебя, ресничка, потерял.

Приснись, ресничка улетевшая, приснись.
Ты мне напишешь. Все захочешь объяснить.
В твоём письме я все пойму:
была ресничка твоя — к этому письму.

Родословная крестиков

+ + +

Микроскоп открыл мир из микробов.

Дисплей открыл, что мир состоит из крестиков.

+ + +

Если все крестики возьмутся за руки и встанут в цепочку, то шеренга их протянется не только от Вильнюса до Таллинна, но даже от Углича до Чикаго.

+ + +

Если мы прочитаем родословную крестика от сегодняшнего дня назад, налево, то мы обнаружим там поэта Китса и остатки какого-то фейерверка. Видно его прадедущка Фейерсгорел, от него осталось «ерк». Другие считают, что это имя «рек». А фундаменталисты прочитали не «Китс», а «скит» и прорабатывают версию, что предком был поэт «К. Р.», великий князь.

+ + +

**Толик сказал на фейерверк
«Крестики писают».**

+ + +

Если раскрутить крестик пропеллером, получится
нолик.

+ + +

В женщине начало начал. $\underset{+}{\text{O}}$ — это не зеркало Вене-
ры. Это поцелуй крестика и нолика. Или Чарли Чап-
лина и, как заметил поэт, Великой Екатери-
ны О?

+ + +

Казанский собор — крестовый паук архитектуры.
В паутине проводов.

+ + +

Если крестик в шляпе — значит, это огородное
пугало.

+ + +

Крестики любят играть в городки.
Очень приятно, когда руки-ноги разлета-
ются.
Любимое их чтение — кроссворды.

+ + +

Вы слышали — в лесу поют кресты?

+ + +

Есть летучие крестики, у них шесть конечностей. За
счет двух крыльев.
Фундаменталисты создали крест-эталон.
Если крестик чуть короче эталона, это —
масон.

+ + +

**Крестикам разрешают выступать по телевизору. Но
есть специальный редактор, который считает
количество лучей у звезд на экране.**

У кого шесть лучей — диверсанты.

+ + +

**Когда большой X кричал на крестика, он думал, что
крестик — буква, а это был другой знак.**

+ + +

**Летели два крестика навстречу друг другу.
Встретились, схватились за обе руки — ква-
драт слиянья. Ногами болтают.
Ириска в целлофановом фантике?**

+ + +

**Полкрестика умеет делать «шпагат», верхняя поло-
вина на полу, нижняя — вниз головой.**

+ + +

Крестик — это поза любви № 17^б по хатха-йоге.

+ + +

Когда нолики окружили крестиков, двое оставшихся встали спинами друг к другу с автоматами наперевес.

+ + +

Интеллигентные крестики рождаются из ротиков. Дамы крестят ротик, когда зевают. Одна женщина в день может произвести до трехсот мелких крестиков.

+ + +

— Вы крестик справа налево или слева направо? Польский или русский? Если да, то мы вас расстреляем.

+ + +

Белые крестики забили гол. Обрадовались, прыгнули друг на друга — «куча мала», обнимаются, руками машут.

**От радости к небу полетели.
Снежинка.**

+ + +

Когда Сталин давал клятву Ленину, слова на его усах замерзали как белые крестики.

+ + +

Дед крестика был драгун. Казак разрубил его наискосок, пополам, на два прямых угла. Крестик сколотил из них раму для портрета.

+ + +

Крестика-собачку можно отличать по одному кончику, загнутому колечком вверх.

+ + +

На все четыре стороны разрывает сердце центробежная сила любви. Прежняя тянет, семья тянет, Кристина тянет, а пуще всех — Неизвестная.

Закон тянет, ракет тянет, ОБХСС тянет, знакомые тянут — себя не хватает.

+ + +

Мы валялись, утопая в дюнном песке.

— Ой, что-то трет спину.

— Посмотри, это меридиан и параллель...

+ + +

Когда женщина дает ему советы, он затыкает себя с четырех сторон.

+ + +

Три крестика сверху и один снизу. Мельницы и Дон Кихот.

Дон Кихот победил мельницу. Построил АЭС. Крестиков прибавилось.

+ + +

Повстречался крестикам шарик. Он съел их. Он съел их так много, что они кололись, высовываясь из пуза. Звали его крыжовник.

+ + +

Говорят, Керенский переодевался медсестрой. Нарисовал на лбу красный крестик. И убежал. Сам Александр Федорович отрицал мне это. Говорят, он переоделся матросом. Надел нолик бескозырки. И убежал. Но это тоже неправда. Почитайте Берберову.

+ + +

Тсс! Речь пойдет не о домовых и лепших — а о водяных крестиках. Возьмите 100-рублевую купюру и поглядите на свет в лупу — вы увидите, что она вся кишмя кишит водяными крестиками. Они мерцают в Москве-реке, в Кремле, в машинах. Из них соткана ткань общества. Их можно насчитать 18 миллионов. А если забастуют 18 миллионов?

+ + +

— Крестик, где выход?
— Вон там!

+ + +

Крестик встает из-за стола, показывая вам, что аудиенция окончена.

+ + +

— Чемпион Икс переплыл Стикс.
— Крестик-с?

+ + +

— Это все не поэзия, не проза — это бред какой-то! Крестик только развел руками.

Пост

**«Пост, христиане! Ни рыбы, ни мяса,
с пивом неясно...»
Рост различаю в духовных пространствах
постхристианства.**

**Постхристиане стоят под мостами Третьего Рима.
Дергает рыба, как будто щекой Мастрояни.
Те рыбаки с пастухами Евангелье сотворили.
Где вапа Книга, постхристиане?**

**«Наши Марии — беременные от Берии.
Стал весь народ — как Христос коллективный.
Мы, некрещенные дети Империи,
веру нащупываем от противного.**

**В танце зайдись, побледневшая бестия,
черная школьница!
Пальцы раздвинув, вскинешь двуперстие,
словно раскольница»,**

**Так, опоздавши на тысячу лет,
в темных пространствах
мучая душу, тычется свет
постхристианства.**

+ + +

**Не поняли евангелисты.
Не к небесам Он руки простира́л,
когда легионеры-металлисты
вгоняли в сухожилия металл.**

**Возьмемся за руки перед разлукой!
Он этим к воскрешению готов,
глядит с креста, протягивая руки
разбойникам с соседних двух крестов.**

Литовские мотивы

Ю. Марцинкявичусу

**О чем вы, литовские дюны?
Что граблями грабят грибы?
О чем вы, литовские думы?
О дыбах судьбы?**

**Зачем я глядеть не устану
в литовское море ночное?
Оно — негатив горнистая,
с белыми хвостиками на черном.**

**Здесь нету заборов. Все просто.
Мужчина здесь от угла
в бумаге, как длинную розу,
несет золотого угря.**

**Литвинка, дочь тихих родителей,
от имевшего нож и вино
насильника в общежитии
выбрасывается в окно!**

**Зачем проступают в парилке
таимые в генах слова?
Зачем во все наши молитвы
подсознательно входит «Литва»?**

+ + +

**Прости мне, Юстинас, дайны
погибшие, мертвую воду
и протоколы тайные
39-го года.**

**Прости мне продажу пиррову
этих людей и бора,
нас тот же вождь оккупировал,
стреляя без протокола.**

**Прости мне невозместимость
краев — твоего, моего.
Тебе все яснее, Юстинас.
А мне-то спросить с кого?**

Июль 1988

Первая любовь

**Мы были влюблены.
Под бабкиным халатом
твой жмурился пупок среди такой страны!
И водка по ножу**

**стекала в сок томатный,
не смешиваясь с ним.
Мы были влюблены.**

**Мы были влюблены. Сожмись, комок свободы!
А за окном луны, понятный для собак,
невидимый людьми,
шел не Христос по водам —
по крови деспот шел в беспутных сапогах.**

**Плевался кровью кран под кухонною кровлей.
И умывались мы, не ведая вины.
Струилась в нас любовь, не смешиваясь с кровью.
Прости, что в эти дни
мы были влюблены.**

Бриллиантовая легенда

Помилуй, Время, рабов своих
непросчитанные варианты!
Носится дух, забывший,
он — дворник или Генсек?
Транзитный орден Победы
с выковыренными бриллиантами,
как будто вставная челюсть
легла
в буфетный отсек.

Кому принадлежат бриллианты?
Павшим за них миллионам?
Зомби больной эпохи,
он соблюдал режим.
Ходил он,
к сигнализации,
наверное, подключенный.
Кому мы принадлежим?

А женщину обхаживали
генерал-бриллианты.
Тот, кто ее улещивал,
теперь обличать здоров.
Замученная игрушка
блистательных шулеров,
она с пустыми ушами
бродит по бильярдной,
где больше не слышно
шаров.

Пропали ее бриллианты,
салютами отпылали.
Ведом генерал-бриллиантом,
на «красный» шел Мерседес...
Лежит на снегах
столица
с выковыренными
куполами.
И выковырянные таланты
с чужих
взирают
небес.

1986

+ + +

Моей жизни часть эмигрировала.
Здесь жила. Пустила корни.
С интересом сейчас игривым
рассматривает меня.

Ты алмазно сияешь — краешком
глаза, носа — как в напу рань.
Но сейчас ты — граненый камушек.
Как далась тебе эта грань!

Расшибалась всмятку, в восьмерки.
Пропать пробовала на боках.
Держишь русский кабак в Нью-Йорке
на отчаянных каблучках.

В этой темной шикарной яме
я узнаю — тебя потом —
неполоманное твое сиянье,
словно малый алмазный фонд.

Узнаю, что никто не знает,
что таю, от себя храня.
Вышибала, тобою нанят,
усмехается на меня.

Якиманкой бежала шибко,
в мировой провал сорвалась.
И сияешь. И не расшиблась.
Доказала, что ты алмаз.

+ + +

Н. Н. Берберовой

Вы мне написали левой,
за правую извиняясь,
которая была в гипсе —
бел-белое изваянье.

Вы выбрали пристань в Принстоне.
Но что замерло, как снег,
в откиннутом локте гипсовом,
мисс Серебряный век?

Кленовые листья падали,
отстегиваясь, как клипсы.
Простите мне мою правую
за то, что она без гипса.

Как ароматна, Господи,
избегнувшая ЧК,
как персиковая косточка
смуглая ваша щека!

Как женское тело гибко
сейчас, на моих глазах
становится статуей, гипсом
в неведомых нам садах.

Там нимфы — куда бельведерам!..
Сад Летний. Снегов овал.
Отставленный локоть Берберовой..
Был Гумилев офицером.
Он справа под локоть брал.

Барнаульская булла

I.

**15 марта
меня выбрали в Папы российского авангарда.**

**Почему в Барнауле?
а то б пырнули.**

**Мои буколики
вызывают колики.**

**Благословляю черные квадраты
Госагропромавангарда!**

**Белые квадраты, разорванные над Гималаями,
благословляю.**

**Благословляю театр Абсурда
от Марса и досюда.**

**Благословляю кота-отказника
есть наши заказы к празднику.**

**Моя паства
съела всю зубную пасту.**

**Моих избирателей
из Барнаула и Бурятии
не пустил в гостиницу сторожевой пост.
Наступил Великий пост.
Поставангардизм.
Постсталинизм.**

**Колокол, по ком?
Благословляю великий хвост
за треугольным молоком.**

**Дырбулщил!
Д-р Булшит.**

**Народ прошел тайный кубизм
избирательных кабин.**

**Выборы, выборы!
Пол-обкомов выбили.**

**Девушка, вы — Барнаул?
Это выборы на ул.**

**Барнаул! Караул!
Где кассет порнобаул?!
Бл. Августин
у нас бы не загрустил.**

Аминь,
барнаульская тюремная арка,
собирает первого авангарда.
Толстого 28.
Амен-нема

II.

На каждом кирпиче вцарапаны имена,
полусъеденные грибком
и заиндевелым ворсом.
Колокол, по ком?
Каин, где брат твой Авель?
Где Вацлав Гавел?*

Сказанное вчера по Голосу, а нынче госсоловьями —
благословляю.

Не возите в воронках
барнаульский авангард.

Достоевский здесь стал эпилептиком,
— нет на Рихтера билетика?

Арьергард? Бабьягад?
Аввакум? Афонград?
Огонек? Молодогвард?
Дух по форме — авангард,
как свидетельствует граф
(о. Сергей б. кавалергард):
«Красный, белый, квадратный, раздирающий душу...»

Сколько барнаульских роз!
Гипноз.
Осанна!

* В момент написания стихов В. Гавел находился в тюремном заключении.

**Летят не сани,
а японские «Ниссаны».**

Выборные листовки читайте сами

**ПЕРЕСТРОЙКА
ПАСТЕР...ЕРОЙ
ПАСТЕРНАК
ГЕРОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ**

**Иду на вы!
череп свой вымой и выпари.
Иду на выборы!**

**Вышли к Жениху
художник и Женаху.
Отказали с маху
художник и Женаху.**

**АВАНГАРД
АНГАРВАД
ДАРГАВНА
АГААНДРВ
АГРАГРАД
ДВАРАНГА**

**Я сидел в моей избирательной компании.
Ира корейнка
мелькала, как палочка Караяна,
со взглядом, настоящим на корне золотом.**

Потом
дев обидчик
захлопывал балконы, как коробки спичек.
И прикуривал от соска.
Другой писал «Спартак» и «ЦСКА».

Пой, слепой,
надежду, что ты один видел!

Тут я вспомнил про свой титул
надел на голову табуретку
и пошел ножками по потолку
Ку-ку!

Благословляю ваш бунт и понт,
и огонь бородки а'ля Бальмонт.

Властей терпимость благословляю.
В вас проступают Гималаи.

«Пускай про вас мелют
хр их знает что —
к вам Рерих
шел по струящемуся плато».

Барнаульский авангард,
в вас — духовный предугад.

Лапой мирового духа
благослови меня, Белуха*

* Белуха — существо,
прикидывающееся вершиной,
под ней свершится
заключительный бой
между Светом и Тьмой.

**Паранойей моих булл
выбираю Барнаул.**

**По предчувствиям моим,
Барнаул — четвертый Рим.**

Аминь.

Пятому не бывать.

9891 ТРАМВАЙ АВ-МАРТ 1989

ПЕЧАТЬ

Ответ министру

**Здравствуйте, министр добрейший
аморальных удобрений!
У датчан едят нитрат
больше нашего в сто крат?**

**Я за них просто в отчаянии!
По больницам нашим в ряд —
все датчане, все датчане
с отравленьями лежат.**

**Ах, министр, не пестицидьте!
Неужель — не у датчан —
детской смертности статистика
Вас не будит по ночам?!**

**Скушайте, министр, продукты,
что народу продают.
В Дании такие фрукты
в отставку подают.**

**Тяжко в Дании живется.
Нет у них в юдоли бренной
Министерства производства
минеральных удобрений.**

**Ах, министр, не мучьте сердце!
Упраздните Министерство.
Чтобы елось москвичам
(псковичам и т. д.)
хоть на уровне датчан.**

20 марта 1989 г.

На маяке

**Как маньяк,
я залезаю на старый маяк.**

**Выхожу
на площадку вокруг фонаря.
В спину бьет жара. Снизу прет мошкара.**

**На два клуба тумана и рой комарья
тень моя падает от фонаря.**

**Голова
на тумане шевелится, как мутант.
В голове моей страшный туман!**

**От фонаря мои светлые планы.
От фонаря моя шаткая жизнь.**

**От фонаря, как летучий гранит,
тень моя плотно на духе лежит.**

**На подсознание моря
и леса,
Бога и беса,
на твоём снизу закинута взоре.**

**Ах, полосатая палка Бога,
дубинка горящая, где дорога?**

**Встарь ты, фонарь,
завывал сквозь туман,
воем спасая судов караван.
Пеленг сегодня сподручней умам.**

**Но по водам
за леса и моря
тень моя движется от фонаря.**

Сонет (регтайм)

**сна нет
спать спать спать
сон стек с пят
сон синь Спас
спит скит
спит стыд
клоп куснул
и уснул
Бог спит
спать спать спать
телефон опять
— общепит?
— б....!
блядь?
телефон
137-18-25
— ты, мой сон?
так-с...
три, два, ать!
кроссовки «SPEED»
такси!
«МИД»
«ТАСС»
— мать спит
тсс...
спать спать
ты — мой сон
экстаз
спать спать...**

телефон
— общепит?
— б....!
— блядь?!!
так-с!..
три, два, ать.
кроссовки «SPEED»
— такси!
«ТАСС»
«МИД»
спать спать спать
телефон
общепит?
сна нет

ты — мой сон
сна нет

Дозрение

Бьют по звуку полет над зорьками
близорукие дальнозоркие.
Видят космос вместо Калуги —
дальнозоркие близоруки.

Озверели затворы, лязгая.
Не для Славы, не для Георгия
все стоят на глазах с повязкою
близорукие дальнозоркие.

Лжеподвижниками пытаются
обзывать их. И лженаукою.
Экстрасенсы прозрели пальцами —
яснорукие!

Андромеды. Гомер — аппендикс,
по ошибке не удаленный.
Обожаю слепые песни!
В них дозрение неутоленное.

Исполать вам, пророки руганье!
Путевые столбы? Позорные!
С них глядят на нас близорукие —
близорукие дальнозоркие.

Оглянись вперед

**Мы летим вперед,
а глядим назад.
Какой раньше рай!
Какой раньше ад!**

**Мой родной народ,
оглянись вперед!**

Видеопозма

1.

**Над страной
категорический императив:
«Какой
открыть кооператив?»**

**Мой подельник
открыл продажу видеоденег.**

**Ведро видеорублей
стоит 5 золотых угрей.**

**Видеоатлеты. Видеопобеды.
За видеоденьги — видеообеда.
Видеоподписка. Видеоотставка.
Продается видеомужик с приставкой.**

**Вас приглашает кооп. боксерский клуб:
1 зуб — 1 руб.**

Оперативники открыли клуб:

1 труп — 1 руб.

Есть сахарный клуб:

1 хруп — 1 руб.

Клуб «Хула-Хуп»

для групп

повышенного риска:

1 хуп — 100 инв. руб.

**Есть видеологический совет при СП по рукописям
молодых:**

1 заруб — за 1 руб.

Видеозаботы. Видеосвободы.
В видеосубботу семеню
с видеоработы в видеосемью.
Видеоскотина, пой нас молоком!
Видеоскандируем. Видеооживем.

В нас царит физически мертвый злодей.
Мы — метафизический вид людей.

Видеосмирившись, видеонарод
в видеомилицию видеоидет.
Видеопрогнозы. Видеоразмах.
И видеослезы на похоронах.

Кто придумал этот Кооператив?
Как распрограммировать карантин?
Кто хотел бы лозунга в полстены:
«...плюс видеофикация всей страны»?!

Русь, куда несешься ты, дай ответ?
Над тобой невидимый хранящий щит.
Руст, куда несешься ты, дай ответ?
Shit!
Он нам шлет из Гамбурга видеопривет.

Дивная картина. Полная луна.
Ты прости нас, снежная дивео-страна!

Кто встряхнет царевну из девиосна?
Черные деревни. Родина больна.

Дивео-прозренья. Вий. Умов мятеж.
Дивео последних вспыхнувших надежд.

Сборка колоколен. Демонтаж ракет.
Снежный лес несется абстрактным Фидием.
Русь, куда несешься ты? Дай ответ.
Даст ответ —
действительный, а не видео.

2.

Власть перехватили кооперативы.
«Кока-колу» съела фирма «Буратино».
Партаktiv внедряется в кооперативы.
На заvertку пущены директивы.

Шоковые люди будят к спорам.
В нашем обществе вырубили ток.
Люди-витамины с энергополем
пробуют собою пустить движок.

Государство делает пантомимы.
Вы — наша надежда, люди-витамины!
Если не сожрут вас из Минфина.

Вечно в центре города храм и базар.
Ты куда отправишь нас, Рижский вокзал?
— Есть кооперативные Пикуль, Скобелев!
— Есть порно для хозяина и для кобеля.
— Сколько на ваших? На моих — бредятина.
Пол-Шестова и пол-Бердяева.

Тираж распродан, куда «Работнице»!
Организуем вторую партию.
А на Кропоткинской все по Кропоткину:
Цыпленок жареный, цыпленок пареный!

КоопКапоне наводят трепет.
Летит на «Волгах» советский рэкет!
Притормозила бюрократическая машина.
За варенками. Для сына.

— Есть Песни орфеев,
живущих в Раю.
Вен. и Вик. Ерофеев.
Шорты «Love you».

Среди иммиграции таланта
классик соцреализма
становится внутренним эмигрантом.

«Есть невидимые предохранители от СПИДа!
Проводи в примерочную, Лида».

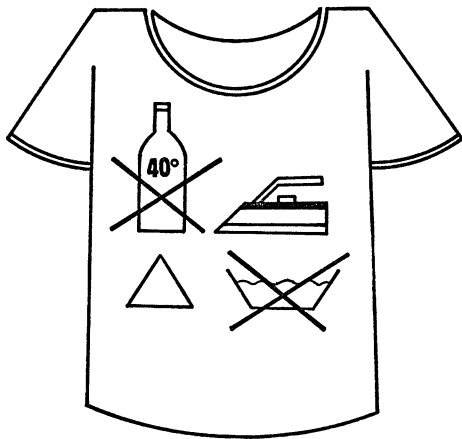
И как на Гоголевском бульваре
два памятника Гоголю были в паре.
Гоголь Синявского и Гоголь Набокова.
Один сидел. Другой не видел.

На Попарт и Опарт не ставьте карт.
ОТКРЫВАЕТ ВЫСТАВКУ КООПАРТ!
Вместо литлипы —
поэтоклипы.

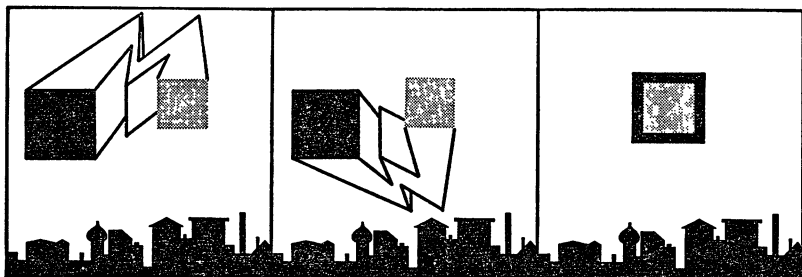
ВЗРЫВ	13 3 13 3	13

Май камай

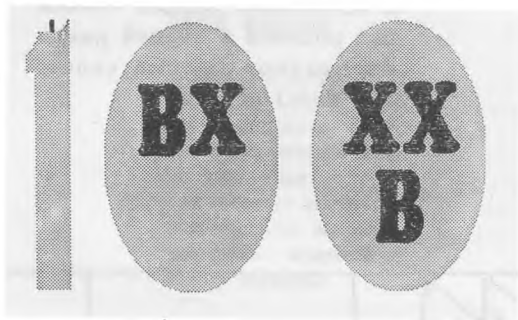
Природы царь
Made in USSR
ум — медиум
одет в зависимость
от таможни
градусы — нельзя
утюжить — можно
чистка — возможна
Живу мощно!



**С заколотого царевича
затмения наши летят.
Черный квадрат Малевича
накрыл кровавый квадрат.
Над незаживающей ранкой
в провинции наших столиц
над родиной в черной рамке
квадратное солнце стоит.**



К столетию Велемира Хлебникова



Идеологическая борьба

БОРЕМБОРЕМБОРЕМБОРЕМБОРЕМ

Круговорот природы

Есть компилятивные кооперативы —
у композиторов

общие кооперативные мотивы.

Берущий Пушкина в аренду —
запишите телефон Арендта.

— Русь, куда несешься ты?

С сумкой в скверике.

— Занимаю очередь за Америкой.

— Куда летишь, Америка,

с книжкой чековой?

— Занимаю очередь за русским Чеховым.

Мир спасется кооперацией —
корпорацией души и рацию.

3.

— Русь, куда несешься ты? Дай ответ.

Не дает ответа.

— Интервьюеров достойных нет?

— Нету.

Но летят два голоса. Миллионы лет.

Где-то. К Богу ль?

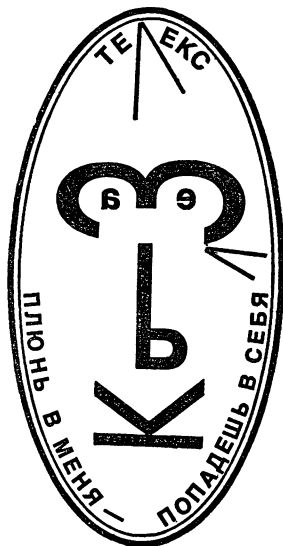
— Русь, куда несешься ты? Дай ответ...

(Гоголь)

Русь: «Куда несешься ты, дай ответ, Гоголь?»

Раскладное зеркальце

Лирическое зеркальце,
в тебе надежда зебрится,
уроду ты — коверкальце,
ребенку — солнцезайцельце,
красавице ты сердцельце,
где смотрит Аль Рашит.
В тебя плевали, зеркальце,
топтали, били, скверкальце,
гоголевское зеркальце,
тебя не разmozжить.
Что нагадаешь, зеркальце?
Чай, чайнику — ул. Герцена,
мальцу глаза прищельцины,
киношникам — Брижжит.
Небьющееся зеркальце,
о чем твой телекс, зеркальце?
А разобьется зеркальце,
то разобьется жизнь.



+ + +

таша говорю я на
низм ты говоришь кому
ыкант наливает муз
иноактриса пошла к
сотка улыбнулась кра
вать советует уби
лам сломалась жизнь попо

Кукурьеза

**вкрались опечатки
в кукурузные ПОЧАТКИ**

**на полях как в лавочке
вязаные ТАПОЧКИ**

**кукурузные КОРОНКИ
зубы в сто рядов
НО РОККИ...**

**КУКУРУЗА куку хрущу
ЗА РУКУ УКушу**

**КУКУРУЗА
не дается
УКАЗУ РУ
ководства**

13 строк

**Рейс твой за горами затерялся.
Садилось солнце. И наискосок
луна всходила. Буря приближалась.
И две дорожки в волнах загорались —
как будто две пружины от матраса —
одна — стальная, а другая — красная.
Они сбивали дьяволу белок.
Я уходил вдоль берега. Напрасно.
Они за мной. От них не отмататься.
Крутилась пара винтовых дорог.
Я лег на спину. Душен был песок.
Из ресторана доносились танцы.
Играла «Салмонеллу» группа-рок.**

Сороковой день

**Служи молебен, Сакартвело,
сороковой.**

**Я вижу души женщин в белом
над головой.**

**Не я убил их, безответных,
но страшно мне,
что их убил мой соотечественник
в родной стране.**

**Не в Чили это послучилось.
Ком в горле встал.
Тот газ, на вид слезоточивый,
нас всех достал.**

**Я видел — Пушкин потрясенный,
цилиндр содрав,
на митинг наш неразрешенный
шел сквозь солдат.**

**От академика до троечника
мы ищем газ
с формулой антиперестроечной.
Он ищет нас.**

**Где формула дубин резиновых,
что против свеч?
Лежат под флагами грузинскими,
чья участь — лечь.**

**Свечи, раздавленные гусеницами,
и детский взгляд —
в неугасимых душах Грузии
вечно горят.**

15.IV.89

На несанкционированный митинг,
повторяю, Пушкин бы пришел.
Не прячьтесь в зонтики, как мидии!
Разговор тяжел.

Мы не были людьми.
Мы — мысли,
которым поздно подождать.
К несанкционированному самоубийству
надежда подошла.

И женщины несанкционированные
по улицам в гробах летят.
Не петь им. Не варить сациви.
Не мыть ребят. Их нет, ребят.

Шел дождь. Не вышло на Арбат
несанкционированное солнце.
Тревога мы, мы — снег в дожде.
Свою тревогу ждали сконце-
нтрированные МВД.
Несанкционированный социум
желает знать — что, когда, где?

И газа формула носилась
по вышедшим из нас умам.
Губами не произносилась.
Но ее каждый понимал.

**Несанкционированная тревога.
Вандеи пробы?
Несанкционированному Богу
несанкционированные просьбы.**

Брось в воздух убиенным розы.

**Кто убивал их — сарацины?
Промокшими полон Арбат.**

**Слезы несанкционированные,
что в горле у страны стоят.**

+++

Мы шли сквозь облако по крену
Хребта, по снеговому сверку.
Нам было небо по колено.
Но сверху.

И были полные карманы
облака горного.
Выныривали из тумана
ноги, как головы.

И это был, я понял позже,
путь к Богу.
И ты в меня влюбилась по уши.
Но сбоку.

+ + +

Абхазия — как Ориноко,
Зеленая на голубом.
Гуляет парень одинокий.
Что ищет он в краю родном?

Его не занимают музы.
Что он ищет, золотой?
— Автомат системы «Узи»,
будто в «Узи» есть покой.

+ + +

**Тенистый парк. Твои плеча.
Знакомства первая притирка.
И за стеною из плюща
звук теннисного мяча —
как откупорена бутылка.**

+++

На ходиках с боем старинным,
на неодолимых цепях
две гири —
Сергей и Марина —
висят на российских часах.

Друг друга не так чтоб любили...
Но двигают время страны
среди электронных будильников
две тронные гири вины.

Смеркается и светает
под грешный их обоюд.
Когда перетянет Цветаева,
они колокольно поют.

+ + +

**Бросками кроля в темном море,
когда плывешь ты на закат,
с тобой, как вспышки ореола,
круги брусничные стоят.**

**Куда ты ни переместишься,
какую мне ни плешь беду —
я видел диски аметиста.
Я плыл с тобою в их свету.**

+ + +

Зеки шьют кресла Аэрофлоту.
На преступленьях мои полеты,
мнимых и страшных. Из крепкого репса
Аэрофлоту зеки шьют кресла.
Катапультировать бы из рейса!
Мне не заснуть в затененном отсеке.
Нитку насильник кусал большерото.
Оговоренная портила веки.
Аэрофлоту кресла шьют зеки.
О незнакомом молю человеке,
что, матюгаясь, шила мне кресло.
Боже, погибла или воскресла?
Небо. Свобода. Божии чресла.
Аэрофлоту зеки шьют кресла.

Ипподром

**Всадят фаворитке дозу в задик:
«Приз вернуть, подколотая, изволь!»
А проходил ли Медный всадник
допинговый контроль?**

**Непостижима и светла
Адмиралтейская игла.**

Игра в наперсток

**Сыграем в наперсток, подросток!
Зачем на вокзальных столах
Россия играет в наперсток,
как если бы пить перестав?**

**На крышках литых «дипломатов»,
на досках судьбы, наугад
среди машинального мата
взамен игровых автоматов
два страшных наперстка стоят.**

**Как дышат железные поры!
Вверх-вниз.
Я слышу подземные хоры —
винись!**

**Милиционера с наколкой
подкорка дрожать повела —
как будто железный раскольник
двуперстьем встает из стола.**

**Не мучай души, подымало!
Один из них будет пустой —
как будто чернец однопалый
обрубленной тонет рукой.**

Оппонентам

**Так поэзия и движется.
Вам шипится, а мне — пишется.**

+ + +

**Я думаю, право ли большинство?
Право ли наводнение в Флоренции,
круша палаццо, как орехи грецкие?
Но победит Чело, а не число.**

**Я думаю — толпа иль единица?
Что длительней — столетье или миг,
который Микеланджело постиг?
Столетье сдохло, а мгновенье длится.**

Я думаю...

1967 г.

+ + +

Спи, родная. Как страшно время!
Чуть трепещут от легких снов
под глазами юными тени —
тени будущих пятаков.

Струны перемен

**В Рим летят невыездные,
голос внутренний страны.
В Дании — юлийкимия.
Юлий Ким — шаман струны.**

**Кьеркегор, ломай коленца!
Раньше всех Олимпиад
струны русского корейца
переменам врожат.**

**На гитаре зачехленной
он приехал, сбив запрет,
как от гонок зачумленный
дисковый велосипед.**

**Вязнут диски в грязной жиже.
Но колдует «в руку» музыка.
Он пропел про клетку с чижигом —
сразу выпустили узника.
Тронул струны вдругорядь —
стали зельем торговать.**

**И летят с постов бояре!
Нет конца заявкам. Пой!
Без обеда Ким наяривает.
Цокают потомки Яра —
Ким. Цой. Ким. Цой. Ким. Цой. Цой.**

Шоссе на Внуково

19.I.88

1.

**Шапка лежит на шоссе, как истец,
кровью запекшийся белый песец.**

**Дар браконьерский с таежной ТЭЦ,
спас меня другом убитый песец.**

2.

**Трейлеру в прицеп
вмятое такси.
И лежит песец
просреди Руси.**

**Шел против движения
трейлер-дурилом
с нашим современником
за рулем.
Трасса с деревеньками
свернута в рулон.**

**(Ты лети, народ,
но, летя, учти
дурака, что прет
поперек пути!)**

**Что сказал ОРУД?
«Бабы кровь затрут...
Если б не песец —
списец!»**

**Что сказал таксист,
сломав два ребра?
«Пассажир, очнись!
С тебя три рубля».**

3.

**Реакцию пассажира не заливали.
Вы этого не поймете,
ей-ей!**

**Хорошо, что трейлеры не летают
и что мы были в такси, а не в самолете.
Оттуда
падать
больней.**

Мальвина

1

**Играю в вист с советскими нудистами.
На пляже не особо талмудистском,
между малиновыми ундинами,
бесстрастными коленками, удищами
неголые летали короли.**

**Игра на раздевание. Сдавала
Мальвина, врач из Краснодара,
одетая в бикини незагара.
Они ей были сзади велики.**

**Мальвина в безразмерные зрачки
в себя вбирала:
денежные знаки,
презренные лежащие одежды,
стыд одеяла,
газетные рубахи,
сброшенные страхи,
комплексы вины
разной длины,
народы в разных позах идеала,**

**берег с волейбольною сеткою на бедрах,
меня — как кости в целлофане,
она вбирала сарафаны,
испуги на металлических пуговках,
шорты-пузыри,
себя как бы одевала изнутри,**

снаружи оставаясь обнаженной,
а по краям бруснично обожженной,

Мальвинин муж нудистов раздевал.

2

— Разденемся, товарищи нудисты!
Снимайте страхи и чужие мысли.
Рэмбо, сбросьте накачанные подплечники.
Вы — без маек,
но прикрываетесь дурацкими лозунгами,
плохо пошитыми надеждами.

Партийные и беспартийные,
оденемся в свободу страсти без!
Юноша, хватайте ферзя противника!
Это не ферзь!

Нудист не может быть влюблен.
Вход в рай нудистам воспрещен.
Вы ренуаровское «ню»
одели в идейную хайню.
Антр ну,
я не могу раздеть жену —
ее скрывает покров аристократизма.

— Нудила-мученик, катись ты!..

Мальвина тут произвела отскок
и сбросила свои аристок-
ратические замашки.

И сквозь ее девический сосок
проклюнулся березовый листок.
«Поднимем взятки!» — заорал Мальвинин.
«Назавтра обещают ливень».

Навстречу ехал «мерседес» —
приют убогого чухонца.
Чухонец ехал тоже без,
но рефлексировал: «Есть хотца!»

Не видя неконвертируемого финна,
Мальвина
сидела,
обхвативши ноги,
одета как в невидимую тогу
в драгоценную тревогу
новой невиданной любви.
Куда там Вогу!
О боги, боги...
Лежали под наколкой короли,
и нет свободной на земле земли.

И страх лежал на пляже,
на рожденье,
и до рожденья в памяти лежал,
и тело сняв, его мы разденем.

Мальвинин продолжал...

3

Мальвина, море зевом львиным
белело. В клубе шла «Калина».
Мальвина, чья вина, Мальвина?
«Мосфильма»?

«Мальвина,— он шептал,— Мальвина»,—
и все уже непоправимо —
кассета про дворец Амина,
помилуй бог — и серафимы! —
Мальвина, чья вина —
Совмина?

Такую цену заломила.
Жизнь уместилась вполовину.
Мальвина, чья вина, Мальвина?
Минфина?

Мальвинин продолжал:
«Не спорю.
Спустимся к морю.
Хотя оно на карантине».
Мальвина, чья вина, дельфина?

Мы вышли к морю.
Картина.
Солнца диско,
стояло низко, как собачья миска.

Все сбрасывали длинные малиновые по краям тени.
За гномиком,
с видом каноника —
лежала его теневая экономика.

Брюнет с мясами на весу
отбрасывал левую колбасу.

От Ивана Ивановича
шла тень Иосифа Виссарионовича.

Шла тень за всеми, как могила.
Мальвина, чья вина, Мальвина?

От инструктора обкома
тянулась тень до окоема.

Но самой длинной
была тень от обалдения Мальвиной.

Все тени шли в направлении страны.

«Отбросим лишнее!» —
Мальвинин врезал.
Взял ножницы и тени нам отрезал.

И крикнул, запихав их в «дипломат»:
«Колоду! Сматываемся, мать».

Нам было голо, зябко и гадливо.

Радио транслировало Малинина.

Манило сердце к магазину.

Мальвина, чья вина — Грузвина?

**А там вдали за скрывшейся Мальвиной,
вся в Книгу Книг занесена,
одной прикрытая молитвой,
лежит раздетая страна.**

Мальвинин нам махал с горы.

Его ждало такси за школой.

Орали в «дипломате» короли:

«Народ-то голый!»

5

**Все ливень смыл неумолимо
назавтра. В джинсах пилигримы,
мы шли, не узнавая, мимо.**

Мальвина, чья вина, Мальвина?

+++

Летел он от Земли наискосок,
оставив слева Запад и Восток,
и соответственно — Север и Юг,
ориентируясь на сердца звук.

Но это было сердце не его,
а чье-то,
что откуда-то звало.

Увидел, что не знали словари,
«Ты дивео», — понявши, он сказал.
И растворился в Существо любви.
Но не в любви,
которую он знал.

Идиллия

**Ты живешь далеко, как в наушниках,
в десяти верстах от Твери.
Отдали от всемирного ужаса,
алтарем своим отдари!**

**Телка, выращенная на нитратах,
Начитавшись моих баллад,
Ты находишь на кухне отраду —
Отжимать в индикатор салат.**

**И увидев смертельную дозу,
отшвырнувши редис и морковь,
в индикатор
текут
твои слезы.
Он темнеет от них, как кровь.**

+ + +

Мы говорим о форпостах,
но забываем,
что висим на вопросах.

Вертикальное шоссе —
отутюженные брюки —
висит на плечиках
железнодорожного моста.

Прощание
повисло на плечах мужчины.

Тишина дома
висит на дверном крючке.

На чем висит страна?

Куда ты ушла?
В темноте шкафа
вместо твоего белого вечернего платья
поблескивает
металлический вопрос.

+ + +

**Когда душа метелями забита,
мне снится — первый Т-образный крест,
нагорбившийся как станок для бритвы,
сгребает вьюги белые с небес.**

В роддоме

**Медсестра Тоня, дело молодое,
сказала — за полотенцами...**

**Крыса в родильном доме
проела щеку младенцу.**

«Сейчас введем против шока

Я одна, а крыс много...»

**Крыса, почти с дипломом,
крыса, забывшая Бога,
крыса в родильном доме
проела младенцу щеку!**

**Крыса мы, все долдоним,
все обо всем высококом.**

**Крыса в родильном доме
проела младенцу щеку!**

**Спасаем людей на льдине,
на Марс засылаем проекты,
крыса в доме родильном
младенцу щеку проела.**

**Крыса в доме родильном
проела младенцу щеку.**

**Дай Бог тебе, Тоня, сына.
Храни его, ради Бога.**

+ + +

**Наденьте белые рубахи
На проводы естественной эпохи —
В Историю коровьи лепехи
уйдут торжественно, как черепахи.**

Портрет Хуциева

**Марлен Мартыныч, Марлен Монтирович,
Арестованыч Картиныч,
как лист сутулыч,
как лист осеннич,
летишь, христовыч,
на свой чердак.
Тел в твоё время не арестовывали —
душе впаяли четвертак!**

**Все годы лучшие твои схватили —
не самого тебя, слава Господи.
Убили душу лишь, Марлен Мотивыч,
и распахали в Госкино.**

**Топтал ботиныч асфальт Державы,
а в заточенной твоей душе
сидели Слуцкий и Окуджава,
зал нестудентов теперь уже.**

**Душа с Распутиным срока наворачивала
(с Григорь Ефимычем) — за годом год...
Она вернулась, от пыток мертвая,
и нас с тобою не узнает.**

**Бродило тело меж нас, не плакало,
нематерьяльное, как вина.
Ведь, по свидетельству Андрея Плахова,
фильм закрыли из-за меня.**

И что тут выправишь?

И что тут вычленишь?

Как все постичь?

**Мерлин Мартинивич, Политехничевич,
Нечечевичевич,
ты всех простишь.**

Демонстриация

**Я шел со странной демонстрацией
от Каменного моста.
Да здравствует демонстриация,
когда из нас выходят монстры!**

**Шары сознания, монстры бреда
плывут над нами цвета морса.
Выносим из себя портреты,
на свалку, монстры!**

**Зависть — движущая сила общества,
свадьба в парткоме из-под палки,
и рост преступности положится,—
монстры, на свалку!**

**Они по пояс, как сирены,
трибуной скрытые стояли —
с умом как БАМ однокорейный —
и под прилавком, съев коллегу,
когтями родину терзали.**

**Как за зарплатою тринадцатой,
писатель лозунг нес пасхален:
«Иностранцы — засранцы!
Как говорил товарищ Сталин».**

**Мы грели их душой промозглою.
Дрожат древки, как пуповины.
Мы, плача, расстаемся с монстрами.
Мы в их рождении повинны.**

**Монстры морали монастырской
без Бога!
Плачь, иждивенчество настырное,
советская система-йога!**

**Под текст советского Модеста
несем химер различных лет.
Несу абсурдную надежду.
А справа тащат мой портрет.**

**Да здравствует свобода слова!
Да здравствует свобода дела —
создания пицци, мысли, крова,
Макдональда из Бирюлева
и власти духа — без расстрела!**

+ + +

Крепит антеннку бабка Агафья.
Зверь двухголовый, смывшись с икон,
шарик на шавке несется верхом,
мотоциклиста облаял, поганец.
Водки заждались. Погоды залгались.
В город послали за пузырем.
Трезвые воют за пустырем
тебе акафист, Век-костолом!
К храму заросшему путь проторен,
траур дерьма за былым алтарем...

и колокольни разор, как афганец,
небу
подъятым
грозит
костылем.

1987

Поле брани

**О поле брани,
на хуторе, в языческом бурьяне!
Грибы-порнухи шевелят губами.
Как в бане,
инстинкт народа здесь без плавок и салопа,
и бык азийский проникал в Европу.**

Вальпургиева ночь на поле брани.

**На душу населенья матом духа
мы посрамили Запада порнуху.**

**Да здравствуй, речь Баркова и Баяна!
Рек перебросчик окаянный
Обь, твою мать, вспять обратить не вправе.
Ее помянут в ужасе аварий,
и вспомнят с ностальгией в Амстердаме,
на Брайтоне
крыжопольцы и витебляне...
Вернемся к маме.**

**Поле брани
застроено многоэтажной дрянью.
Что вам покажут из оконной рамы?
Откусанные полбаранки?
Концерт для пипифакса и сопрано
и бритвы «Браун»?
О самобранка
писательских открытых партсобраний...**

А я вставляю в уши группу «Браво».

Избранница моя!
По полю брани
ты бродишь, собирая икебаны,
ты фору дашь всем пресловутым гейшам,
когда вздохнешь на русском,
на чистейшем...

О поле праны...

Поединок

**Ихний через полчаса
появился, пол чеша.
Но наш меч отточенной...
.....
Река Вечности. По ней
плывут дырочки ноздрей,
встав, как двоеточие.
:
.....**

Розивелет

**Не накопил на самолет —
покупай розивелет!**

**Лети в Париж, разинув рот,
мой розовый розивелет!**

**Когда инфаркт произойдет,
налей в стакан розивелет.**

**Переключишь розивелет —
в правительстве переворот.**

**Ничего нет на обед?
Подаст икру розивелет.**

**Россия с Грузией слилась
в один, как Вий, глядящий глаз:**

**«Подымите мне веки
на 120 минут...»**

Рембо перед зеркалом

**РЕМБО ОБМЕР
ЗЕРКАЛО ПОЛА КРЕЗ
ТЕЛЕКС СКЕЛЕТ
ОВИР КРИВО
ЦЕМЕНТ НЕМЕЦ
А НА НЕБЕ...**

Детство

**В огромных кепарях неповторимых,
мы — городские бледные опята.
Мы, как лакеи у Екатерины,
катались у трамвая
на запятках.**

Болтанка

Третий час на небесах

болтанка.

Стюардессы, как мячи —

меж бортами.

Пол-Алтая и страна под нами —

болтает!

Как пристегнутый министр?

Болтает!

Мой сосед разбил мениск.

Братанье.

Предлагается Главболтдепартамент.

Были винтики, станем болтами.

В книгу Гиннесса, чай, вносят доклады.

На трибуны чай носят бесплатно.

Запрещавший о свободе болтает.

Любит женщина ушами —

но тайно.

Молоко молоковоз болтает,

только нет от порошка сметаны.

Из могилы в могилу труп летает.

К потолку летит в клозете оно.

Бесы новые возникают

помесь Нестерова с Махно.

Мост задумали наши балаболы

«Москва — Вега» через Бологое.

Как из Афганистана танки —

я бы вывел из страны болтанку.

1988

Кризис популярности

**Раньше меня крыли без ответа
почти все журналы и газеты.**

**Мне верны остались в злобной мге
2 ж. и 1 г.**

**Как меня, бедняги, ни поносят —
это им подписки не приносит.**

**Господи, пол-литра поднеси им —
«современной» «гвардии» «Литроссии»...**

я

башня
Сухарева
боярышная
суриковская
нессучившаяся
текитеки сукровица
убиенная мазуриками
с ромбами и кубиками
На Сухаревой башенке
Иван Великий женится
В Москве землетрясение
как брачная кровать
сдайте яйца сооружению
на белке хоромам
сто лет стоять
Иван Великий женится
на Сухаревой башенке
я ее строитель Чеглоков
красные дороженьки застелить велите!
почему ж повалены миллионы толп?
.....

С Ух! рух
вера рев
а-а

По Сухаревой башне рыдай, Иван Великий!
Над Москвой белеет овдовевший столп.

+ + +

Я дерево вкопал
в национальный парк.
В моих ушах звенит
национальный стыд.
Кто замутняет ход
национальных вод?

Бьет в ноздри мне из недр
национальный дух,
национальный кедр,
национальный дуб.

С холма на сериал
полуслепых полян
хрусталиком сиял
национальный храм.

Светает среди верб
национальный серп.
Полз в яблоневоый сад
донациональный гад.

Всечеловечий дух
соединил в веках
Блаженного петух
с чалмами и в крестах.

Пней поднебесный тир.
Озерный Левитан.
И небосклон из дыр
озонных трепетал.

**Вдруг Божий белый свет
рассыпался в момент
на центробежный спектр
национальных лент.**

**Все резче и красней
белки моих друзей.
И зреет, сроки скрыв,
национальный взрыв.**

1987

Терцины

**Урны ставятся в ниши.
Книги ставятся в души.
Не застынь в эгобарстве.
Лучший том — не на полке.
Путь осилит идущий.
Пастернак — в его пастве.**

+ + +

**На проселочную глину
отсыревшая земля
отпечатывает шину
в виде зубчиков Кремля.**

**Беспредельная Россия,
что за ангел иль ОРУД
эту дактилоскопию
на дорогах разберут?**

**По кому дорога гонит?
Кто раздавлен, недвижим,
на московском небосклоне
отпечатком этих шин?**

+ + +

Памяти Г. Ш.

**В свое последнее рожденье
уже оттуда прилетал.
Мы вместе ехали. Раздельно
глядел, как будто из зеркал.**

**Невесело шутил Барышников,
принц иронический, Парижников,
его с Плисецкою галá
ты ждал. Просил под водку рыжиков,
но чувствовал себя паршивенько.
Тебя подруга увезла.
Ты был улыбкою таланта,
укором веку своему.
Тебя бездарность утомляла.
Ты не любил его баланды
и кулинарил потому.
Что написать? «Геннадий Шмаков,
ты не любил в душе башмаков».
Строка понравилась тебе.
Строка была за всякой гранью.
Ты улыбнешься из-за грани...
Вот все, что можно между нами.
Вернется прах, отпетый в храме,
на родину. Но ты, ты где?..**

**Ни в Ленинграде. Ни в спецхране.
Ни в USA. Ни в СПб.**

+++

Мозг умирает. Душа-эмигрантка
быстро, как женщина, вещи свои соберет.
Разум умрет. Но инстинкты
тело за час покидают, как крысы бегут с корабля.
Страхи ютятся в обоях настенных,
пузырясь газетой под ними.
Подлянка в сад улизнет.
Это не бесы в лесу — бессонное подсознание.
Зависть ползет,
тщеславие свищет на ветках.
Похоть охотится в балке. Тоска
в ряске болотной живет,
норовит заразить простодушную крякву
или волка с нарушенной иммунной системой.
Плачут скитальцы, темнят.
Вот почему так агрессивны погоды.
Бойтесь ходить по грибы.

В ком же ты жил? Что за грешника мучил?
Красный, белый, квадратный, раздирающий душу!
Синий, винтообразный, засасывающий виной?
Желтый, сферический, как противотуманная фара,
сседающий белое Дух?

Это я понял, когда умирал Виктор Платонович.
В кухню петух безголовый вбежал
и рассвет прокричал.

Романс

**Поезд. Снежная дорога.
Обожгло ему лицо
женской страстью до ожога
раскаленное кольцо.**

**С той поры она на столик
кольцо с вечера кладет.
Колечко вздрагивает только.
Будто поезд все идет.**

+ + +

Кричала девочка батистовая,
меж мной металась и тобой,
живая шестилетней истиной:
«Вы ж муж с женой!»

И ты ответила наотмашь:
«Какая я ему жена?!
Что смотришь?
Спроси ты у него сама».

И на меня глядели с верою,
что шутит мать, что все не так,
Не убивать просили серые
мои глаза в твоих щеках.

И было ложно все, что сложно.
Твои катились и мои
из бешеных глазенок слезы,
и первые — уже свои.

+ + +

Как ты кричишь, садовая скамья,

изрезанная клятвами хамья:

«Марина бя»... сих мыслей окромя

«Блинов + ж» + «крамеров семья».

Кто зеброй отпечатался в скамью?

Аполинер здесь распивал Камю.

И, все смывая, рейки вниз струят,

как по порогам сельский водопад.

И вниз сползут влюбленные зады

по склону деревянной той воды.

Слетает юность, бывшая людьми,

гусеничным конвейером скамьи.

Зима весной смешается в саду.

Но почему, когда я ни приду,

На той скамье мы тыщу лет сидим.

Судима ты. Я более судим.

+ + +

Тень отбрасывает предмет.
Тень отбрасывает людей.
Снопь темного света с асфальта
отбрасывают ноги, белую юбку,
наглые губы.
Квадрат отбрасывает кубийство.
Что отбрасывает
сдвоенная тень со стены,
предшествующая нам?

Истины нет. Есть тень,
отбрасывающая людей,
чтобы отбрасывать новых.

Я отбрасываю тебя.

Гражданка

**Уходят солдаты в гражданку.
На рынках оружие в цене.
Задраивши «Лады» как танки,
гражданка летит по стране.**

**Гражданка рождается в семьях.
Пытают людей утюгом.
За что нам такое отмщенье?
Свобода и голод кругом.**

**Кожанки, на штурм ОВИРа!
Я белый нашел во дворе.
Неужто под лозунгом мира,
несемся к гражданской войне?**

+ + +

Во время взлета и перед бураном
мои душа и уши не болят —
болит какой-то вестибулярный
неясный для науки аппарат.

Когда, снижаясь, подлетаю к дому,
я через дно трепещущее чую,
как самолет жестяною ладонью
энергию вбирает полевою.

Читаю ль тягомотину обычную
или статьи завистливую рвотину,
я думаю не об обидчике —
что будет с родиной?

Неужто и она себя утратит —
с кукушкой над киржацкою болотиной —
и распадется, как Урарту,—
что будет с родиной?

Она атавистически сладима —
кому-то Кремль, оттиснутый на сотенной,
а мне — язык мой непереволимый...
Что будет с родиной?

Не административная система —
блеск ее верст на спининги намотанный.
Она за белой церковью синела
нерадиоактивною смородиной.

**Я не хочу, чтобы кричала небу
чета берез, белеющих в исподнем.
Отец и мать в моих проснулись генах:
«Что будет с родиной?»**

Рhapsодия распада

I

**Я вышел в сад. Из сада
плыла в окна фасада
рапсодия распада**

**— в деревьях полуночных,
в незыблемых громадах
наращивала мощность
рапсодия распада,**

**во рвущей сердце грусти,
в критической нагрузке
бетонной эстакады,**

**в несущихся свободах,
в твоей душе разъятой,
в стремительных разводах,**

в отпущенных солдатах,

**в напрягшихся границах,
в общественных гранитах,
распавшихся в крупницы,**

**в тоске, в видеоклипах
и в дулах автоматов,
в футлярах из-под скрипок,**

**в призывах Газавата,
в откатке в Зарубежье
летела центробежно —**

На небе след смычковый от Пскова до Невады.
и на душе вечерней.
Сыграй мне, Ростропович, рапсодию распада,
виолончель влечения!

Сыграй без исключения Ростроповичиаду
художника и черни.
Ты, как мулатку в зале, к себе поставишь задом
виолончель влечения.

Я навещал вас ночью, в года, что нет ночнее.
Влекли неодолимо
тяжелый подбородок, что схож с виолончелью,
и гневная Галина.

В пуленепроницаемом окне рассвет топорщится.
Влеки нас, Ростропович.
Не из страны — из тела — уход и возвращенье,
виолончель влечения!

Молчала за оградой
критическая масса,
распутица расплаты.

Меж основоположников
толпа давила ложников.
Шла рабская топтада.

Сыграй людские души, играй небесный почвенник,
расправу после «браво».
Чего же в душах больше — Бога или подлости,
Слава?

Мсти, Слава, за все бездны, за шаткий путь без
поручней.

Отмщенье — в прощеньи.
Уводит нас небесною тропею Ростроповича
виолончель влечения.

— Не след виолончельный!
На синем чулке неба
спустившаяся петля.

Она не виновата!
Просто душа совпала
с рапсодией распада,

в несущихся утратах,
в сместившихся сатрапах
полураспад Урарту,

в непонятых свободах
наращивала коду
распадия рапсода

II

Вошел я в дом обратно,
чтоб эту коду вырубить

— в телепрограмме выборов,
в распутных кадрах Вырубовой,
в божбе партаппарата,
ревела хит-парадом
рапсодия распада.

Сидела у экрана
критическая масса —
единым сонным глазом
от Омска до Кавказа —
следила за свободами
и жаждала расправы,
подзарядив в стаканах
мистическую воду.

— Зачем все это строили?
Чтоб после разрушали?
— А из чего бы строили,
когда б не разрушали?!
— А с будущего года —
не «стронций-90» —
«эстонцы-90».
— Дави интеллигенцию!

Из ванн рвались в дебаты
их дамы в полотенцах
на лбах, как Арафаты.

А малые арфята
на прутиках балконов
играли палкой ноты.

Спасите ваши туши!
Связь живота и зада
затягивайте туже.

Заткните уши ватой!
— в стремительно растущих
подростках на нитратах —

отваливались плитки,
разваливались семьи,
шаталось государство,

подавленный рапсодией,
поддатый пел: «Посодют!
господа, давайте распадаться!

Аспазии абсурда,
пошли сдавать посуду.
Мы — банки из-под ада!»

Вошел в себя. Отвратно —
расподия ропсада.
Вошел в тебя. Ты рада?

Но тебя в тебе не было.

III

Нетронута распадом, идешь по Ленинграду,
как раньше Маросейкою,
заткнувши уши Бахом, читалка нелегального,
студентка Милосердия.

В одной серьге — так надо,
зажмутив солнцу носик.
На майке надпись: «МАДЕ
in Петербургъ». Так носят.
Но что-то в тебе новое.

Дочь матери Терезы
Ты везешь в палату
афганца на тележке
по гипсовому саду
Ты подмываешь бомжа и полутруп старухи
берешь ты дело Божье в персиковые руки
В клиническом подходе с коллегой непоспата
ты полутруп эпохи смываешь от распада
Потом на общем пляже
на лежаке дощатом
раскинув руки ляжешь
классически распята
не Сын а Дочь Господня
плывешь водой опасною
В смысле креста сегодня
у нас — эмансипация

лети топчан дощато
иные измеренья
где ты — совсем другая — чулками голубая
загар продемонстрируешь спортивная Даная
плывешь освобожденная на этаже на пятом
творит «группа захвата» топчодию отпада
спустившаяся петля бежит к небесной пятке

и говорит невыбритый:
«Мы этот садик вырубим.
Под здание детсада».

IV

Я вышел в сад обратно.
Сад не переменился.
В усталых арматурах
из наркоароматов
цвели гелиотропы.

Я понял — рядом дуло.
Над грязными газонами
шел из окна в Европу
сквозняк в дыру озонную.

[illegible]

Из маленького ада
летим к большому Аду,
который не воронка,
а сам — процесс распада.

— Давайте
на лучшее

распадаться!
и худшее!

Поэт в
настаи
музыку

пальто валютном
вадет: «Слушайте
эволюции!»

Летит табло:
оставь, сюда
Надежду я
Не выбросил
С огарочком

«Надежду
входящий».
оставил.
— оставил.
иду.

Критическая масса,
критическое время
критической надежды.

Вдруг, как и встарь, предшествует
рапсодия распада
новейшему Пришествию
Господнего распятия?

А
К
С
И
О
М
А
А
М
О
И
С
К
А
А
К
С
И
О
М
А
С
А
М
О
И
С
К
А

Эскиз **э**нциализм

ЗУБ РАЗУМА, ИЛИ КАК Я БЫЛ ХОДОКОМ К ХАЙДЕГГЕРУ

Он поблескивает желтоватой костяной лысиной, коренастый, крепкий, глубоко утопая в малиновом кресле, Мартин Хайдеггер, коренной зуб немецкой философии. Он таится в темном углу моей памяти, глубоко уходя корнями, сидит в полумраке ресторанчика, примериваясь к венскому шницелю, — крепко сидит. Последний гений европейской мысли. Зуб разума.

Это его полированное поблескивание я видел, не различая выражения лица, со сцены во время моего выступления во Фрайбургском университете — он мерцал справа на коренном месте своем, в ровном, как челюсть, ряду кресел, подозрительно поглядывая на сиявшие вокруг искусственные улыбки прогресса. Было это 14 февраля 1967 года.

Потом мы ужинали, и об этом не стоило бы вспоминать, если бы не мелькнувшая вдруг какая-то пришибленность, коренастая насупленность, затравленная опаска общения с людьми. Видно, многое он перенес.

Беседа состоялась у него дома, в кабинете, где стояли «молчаливые, грузные томы... словно зубы в восемь рядов». Хозяин был одним из них. Был пока живой и не встал на полку — поблескивающий мозговой надкостницей Мартин Хайдеггер.

Разговор наш записывал граф Подевилс, президент Баварской академии. Он примчался из Мюнхена на божьей коровке своего «фольксвагена», изящный, худощавый, с французским ветерком в волосах, и, подмигнув, сообщил, что меня выбрали в Академию. Эрудит, бывший много лет журналистом в Париже, он благоговел перед своим кумиром и подробно законспектировал беседу. К сожалению, хозяина он записал короче, чем гостя, но и слова гостя показывают, что интересовало великого философа в 1967 г.

Хозяин повел беседу делово, без размин-

ки. Это был другой Хайдеггер — властный, но без высокомерия, и одновременно какой-то беспомощный и ранимый внутри, с каким-то душевным сломом. *«Довольно быстро разговор переходит к проблеме техники, которую Вознесенский по-новому вводит в язык своей поэзии.*

Вознесенский, архитектор по образованию, обладает способностью математического мышления и чужд технической сфере (в отличие от авангардистов, которые лишь играют научно-технической лексикой).

ХАЙДЕГГЕР. *Способен ли дух овладеть техникой?*

Вознесенский упоминает, что среди многотысячных аудиторий значительную часть составляют представители молодой технической интеллигенции России...

ХАЙДЕГГЕР. *«Архи-тектор! Тектоника. По смыслу греческого слова это старший строитель. Архитектура поэзии».*

Он даже по-петушиному подпрыгнул, выкрикнув это: «архи-тектор!»

Не раз в своих трудах философ использовал образ храма, стоящего на скале, как метафору творения. Помните?

«Творение зодчества, храм ничего не отображает. Посредством храма Бог пребывает в храме. Бог изображается не для того, чтобы легче было принять к сведению, как Он выглядит; изображение — это творение, которое дает Богу пребывать, а поэтому само есть Бог. То же самое и творение слова. Творение дает земле быть землей». Красота есть способ, которым бытийствует истина.

Читая сейчас эти мюнхенские листочки, двадцать лет пролежавшие в графском архиве, я поражаюсь совпадению мыслей фрайбургского мэтра со взглядами тогдашнего меня, знавшего о Хайдеггере лишь понаслышке (книги его и до сих пор у нас, к стыду нашему, не изданы). Сегодня я читаю свои слова, почти как речь чужого человека. Я пробовал тогда читать Хайдеггера по-английски, но можно было голову сломать о его труднопереводимые термины. Правда, мы увлекались в ту пору разрозненными запретными

томиками Бердяева, Кьеркегора и Шестова, который писал статьи о Гуссерле, из чьего гнезда вылупился фрайбургский философ.

Знал я, конечно, что из Хайдеггера вышел Сартр, с которым судьба меня уже сводила.

Я поворачиваю зрачки внутрь, вглядываюсь в память, различаю уже не только великую лобную кость, но и острые рысьи бровки, щетинку усов, похожую на щеточку для ногтей, добротный костюм-тройку и напряженные глазки, которые по ходу разговора начинают теплеть и отсвечивать коньячным огоньком. Я ищу в нем отсвет любви к его марбургской студентке, юной экзистенциалистке, неарийке Ханне Арендт, и трагедию разрыва с ней. Но лицо непроницаемо.

Между тем я спросил его о Сартре.

Он нахмурился, пожевал мысль бровями. Усмехнулся. Что ему Сартр — ему Шартр подавай!

— *Сартр? Источник его оригинальной идеи таится в его плохом знании немецкого языка. Сартр ошибся и неправильно перевел два термина из моих работ. Эта ошибка и родила его экзистенциализм. Граф сладострастно затрясся от этого пассажа. Чувствуя мое недоверие, хозяин продолжает серьезно:*

«Вознесенский спрашивает об отношении Хайдеггера к Сартру. Хайдеггер указывает на различие. Его собственное мышление — осмысливание «здесь-бытия». Сартр — представитель «экзистенции». Различие уже в языке. Хайдеггеровское понимание «экзистенции» — экстатическое бытие как открытость настоящему, прошлому и будущему».

Это близко тому, что он писал в «Истоке художественного творения»: «...человек в своем экзистировании экстатически впускает самого себя вовнутрь несокрытости бытия».

«Вознесенский, подхватывая эту мысль, говорит об «открытом стихотворении», которое рассчитывает на активность слушателя или читателя».

ХАЙДЕГГЕР. *Взаимосвязь в поэтической сфере.*

ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Магнитное поле.

Стихотворение для Хайдеггера здесь — лишь идеальный пример творения, это его давняя мысль: «творящая истина, полагающая вовнутрь творения. Поэтическая сущность такова, что искусство раскидывает посреди сущего открытое место и в этой открытости все является совсем необычным». То есть — «открытость вовнутрь».

Тут на коренастую фигуру Хайдеггера наплывает нервное, как разбитое зеркальце, лицо Сартра. Росточка они были одинакового. Их дымчатые лица, утеравшие тела, стоят в моей памяти на одном уровне, как два стеклышка очков с разными диоптриями.

В ту пору мир был озадачен духовным феноменом наших поэтических чтений, когда стадионы слушали по несколько часов одиночку поэта. Оба философа совпадали в интересе к этому явлению.

Сартр был на чтении-обсуждении «Треугольной груши» в библиотеке у Елоховской. Потом в интервью он назвал это событием, наиболее поразившим его в Москве. Он, как безумный, вытаращив глаза, в упор вглядывался в слушающие лица студентов. Сартр прибыл с монументальной Симоной де Бовуар в плотно уложенных буклях и Е. Зониной, что была загадочной «m-me Z», которой посвящены «Слова».

Выступавшая на обсуждении учительница клеймила мои стихи за употребление никому не понятных слов — «акваланг», «транзистор», «стихарь» и за неуважительность к генералиссимусу. Молодая аудитория снесла ее хохотом. Сартр наклонился ко мне и шепнул: «Вы, наверное, наняли ее для такой филиппики».

Понравилась ему пылкая речь в защиту поэзии, которую произнес молодой поэт Саша Аронов. Кудрявый Саша походил на юного лицеиста, читающего при Державине. Державиным была Симона де Бовуар, отяжеленная буклями.

Несколько лет я был заморожен Сартром. Меня интересовал тогда экзистенциализм. В Сартре была жадность к ощущениям. В Париже он показывал мне «Париж без оболочек», водил в «Альказар», стриптиз из юношей, превращенных в девиц. В антракте потащил за кулисы, где напудренные парни с пышными бюстами заигрывали с гостями. Пахло мужским спортивным потом. У Симоны дрожали ноздри.

Я возил их в Коломенское, где зодчий применил принципы «скрыто-открытой красоты». Великая колокольня до последней секунды заслонена силуэтом ворот и, неожиданно появляясь, ошеломляет вас. Этот же прием применен в японских храмах. Сам того не зная, Сартр перекликался с русской поэзией. «Поэзия — это когда выигрывает тот, кто проигрывает», — не слышится ли за этим пастернаковское «И поражения от победы ты сам не можешь отличать»?

Сартр писал: «Меня нередко упрекают в пренебрежении к поэзии: доказательством, говорят мне, служит факт, что журнал «Тан модерн» почти не печатает стихов». Опровергая это, он напечатал в «Тан модерн» мою подборку. Описательный журнал в поэзии он презирал: «Не следует воображать, что поэты заняты поиском и изложением истины. Речь идет о другом. Обычный человек когда говорит, находится по ту сторону слова, вблизи объекта, поэт же всегда по эту сторону. Не умея пользоваться словом как знаком того или иного аспекта мира, он видит в нем образ одного из таких аспектов».

В стихотворении «Париж без рифм» я так описывал его:

А Сартр, наш милый Сартр,
Задумчив, как кузничик кроткий...
Молчит кузничик на листке
С безумной мукой на лице.

«Ну какой же Сартр кузничик? — удивился И. Г. Эренбург. — Кузничик легкий, грациозный, а Сартр похож скорее на жабу». «Вы видели лицо кузничика? Его лицо — точная копия сюрреалисти-

ческого лица Сартра», — защищался я. Через неделю, разглядев у Брэма голову кузнечика, Илья Григорьевич сказал: «Вы правы». А в страшный для нас Новый год после хрущевского разгона интеллигенции И. Эренбург прислал мне телеграмму: «Желаю Вам в новом году рез-

виться на лугу со всеми кузнечиками мира».

Увы, соприкосновение мое с Сартром оборвалось из-за Пастернака. Отказавшись от Нобелевской премии, Сартр, обвиняя Шведскую академию в политиканстве, походя напал на Пастернака. Это вызвало ликование в стане наших ретроградов, до тех пор клеймивших Сартра.

Вскоре он пригласил меня на обед, который давали в честь него в ЦДЛ. Мне всегда тяжелы острые углы и выяснения отношений. Я отозвал гостя от стола и сказал: «Вы не понимаете в наших делах. Зачем вы оскорбили Пастернака?» И чтобы отрезать путь к примирению, добавил дерзость: «Ведь все знают, что вы отказались от премии из-за Камю». Альбер Камю получил премию раньше Сартра и в своей нобелевской речи восхищался Пастернаком. Я был не прав в своей мальчишеской грубости. Больше мы с Сартром не встречались. Под конец жизни он впал в марксистенциализм.

Но вернемся к фрайбургским записям:

«Заходит разговор о метафоре, которая, по мнению Хайдеггера, принадлежит поэтической сфере, первоисток языка, где слово было открытым и многогранным. Однозначность — сужение, пришедшее с наукой и логикой».

Метафора всегда была для меня не техническим средством, а связью между «здесь-бытием» и «там-бытием». Не случайно Иов свою самую душераздирающую мысль выразил метафорой: «О, если бы верно взвешены были вопли мои и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей!»

Из страшной метафоры этой родилась

лучшая книга Шестова, одного из отцов экзистенциализма. «Метафора — мотор формы» — пламенно декларировал я в 1962 г.

Ныне метафоризм — наиболее творческое и разноликое направление в нашей «новой волне». Есть «фето-метафористы», «мета-метафористы», «мета-иронисты», «фото-метафористы», «мато-метафористы», «магометафористы», но за всем этим нащупывается одно — наведение связи между «здесь-бытием» и «там-бытием». Наблюдается и мета-фобия. Я пытался объяснить Хайдеггеру азы мелометафоризма, в котором тогда себя пробовал.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Письменное слово — это как бы нотная запись, которая оживает в звуке. Он говорит о своей принадлежности к «музыкальному» направлению в современной русской поэзии, эта линия идет от древних традиций, бардов, певцов (тут можно для сравнения вспомнить кельтский запад Европы, Ирландию). Александр Блок, Мандельштам читали свои стихи вслух, подчеркивая ритм, прежде чем их напечатать. Именно к этой школе чувствует свою причастность и Вознесенский. Отвечая в Мюнхене на обвинение в «декламационности», якобы чуждой европейской традиции, Вознесенский указал на эту русскую традицию и на то, что его чтение является как бы воспроизведением, воссозданием стихотворения как творческого акта с максимальной внутренней концентрацией.

Мне думалось тогда: ну что мог понимать немецкий философ в незнакомой ему, полуазийской русской речи и методике, когда он вслушивался, поблескивая костяной макушкой из темной десны первого студенческого зрительского ряда?

Вероятно, как и показал его академический обстоятельный разбор, он видел в русской поэтике лишь подтверждение своих тезисов. «Я — Гойя» он воспринял как выражение праязыка с двуконцовым «я», которые для него были греческими

«началом» и «окончанием» — то есть двумя едиными принципами творения. «Как карандаш, заточенный с двух концов» — запомнилось мне. Наверное, красно-синий, а может, у них в Германии иные карандаши? Я не всегда понимал, лишь согласно кивал. Позднее, читая его

труды, я сквозь текст слышал его голос. «Язык не потому — поэзия, что в нем — прапоэзия, но поэзия потому пребывает в языке, что язык хранит изначальную сущность поэзии, ...истина направляет себя вовнутрь творения...»

Сто потов сошло с меня на сцене, пока я читал во Фрайбурге. Мне очень хотелось, чтобы он понял стихи.

Стихи мои переводил в аудитории Саша Кемпфе, милый увалень, переводчик книг Солженицына и «новой волны». Он пузырился рубашкой и штанами, отдувался, был весь контрастом корректному графу. Когда говорил граф, Саша ревновал и мял в ладони влажный платок.

Мне приходилось беседовать со многими значительными мыслителями столетия. Стиль речи каждого говорит о неповторимой личности. Папа Иоанн Павел II Войтыла в разговоре как бы пытается внести гармонию в ваши мысли, — например, когда я в таинстве Ватиканской библиотеки спросил его о Неопознанных Летающих Объектах, он, потрянув соломенными прядками из-под белой шапочки, объяснял мне спокойно, как учителя растолковывают предмет в школе. Долговязый, как телебашня, Мак-Люэн был телевизионен в своих формулах. Он поражал вас своими афоризмами-видеоклипами. Блистательный розовый Адорно, оппонент Хайдеггера, излучал остроумие и деловую энергию среди белых халатов своего франкфуртского института. Хайдеггер же был кабинетен в стиле XIX века, он как бы искал

истину вместе с собеседником. Более близкими оказались для него зрительные метафоры «Озы», может, потому, что это было более переводимо или напоминало структуру поэтики его молодости и отвечало его ненависти к НТР. «Насквозь про-зрачный предмет», по его терминологии.

Граф сухо комментирует беседу:

«В разговоре с Хайдеггером, как и во вступительном слове к своему концерту во Фрейбургском университете, Вознесенский затронул проблему перевода. Даже самый лучший перевод остается

несовершенным. Но то же относится и к самой поэзии, которая переводит вещи, «голос вещей» в сферу поэтического слова. Но при этом всегда есть остаток тайны, чего-то непонятного (именно потому, что перевод происходит не на одноязычный язык логики). (Тут Хайдеггер закивал.) Тем не менее люди понимают стихи, особенно слушая их, почти так, как становится понятной латинская или древнегреческая литургия, даже если ее исполняют на незнакомом языке. Хайдеггер спрашивает о смысле слова «правда».

Я ответил, что правда — в создании.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Правда — это истина, но и справедливость, правильность, указание на то, как следует поступать и делать. Слово «истина» восходит к корню «есть». Тут имеется в виду действительность, бытие, сущее. Поэзия имеет дело с раскрытием истины.

ХАЙДЕГГЕР. Поэзия ничего не воспроизводит, она показывает. (Язык как «показ».)

И здесь мы подходим к главному свойству поэзии по Хайдеггеру. Он определил его словом «набрасывание», или, вернее, «набросочность», «проектирование» будущего.

Я бы назвал это свойство ЭСКИЗЕНЦИАЛИЗМ ПОЭЗИИ.

Эскизенциализм поэзии, как его понимает философия, проявляется себя в набрасывании, загадывании будущего, таким образом участвуя в истории, творя ее. Эскизенциализм поэзии недоговорен, тороплив ввиду кратковременности срока жизни среди немой Вселенной.

У Хлебникова читаем: «Законы времени, обещание найти их было написано на березе (в селе Бурмакине Ярославской губернии) при известии о Цусиме. Блестя-

щим успехом было предсказание, сделанное на несколько лет раньше, о крушении государства в 1917 году». Хрущев вряд ли был поклонником Хлебникова, но думаю, что сгубившая его идея совнархозов (СНХ) подсознательно родилась из его инициалов «НСХ».

Поэзия может чувствовать не только эхо после события, но и эхо, предшествующее событию, назовем его ПОЭХО. Поэхо, как звери предчувствуют землетрясение, предугадывает явления.

Подслушанное в начале века поэтом «шагадам, магадам, выгодам, пиц, пац...» предугадывало и «Магадан, столицу Колымского края», и цоканье пуль о ледовитые камни.

А хлебниковская поэма «Разин», где вся огромная сложная снежная лавина глав каждой своей метельной строкой читается наоборот, вперед и назад,— она предугадывала обратный ход революционного процесса, этим «набрасывала» историю.

Хайдеггер по-своему перевел гераклитовскую формулу Оракула — «неговорит и не скрывает». «Ни прямо открывает, ни попросту скрывает, но открывает, скрывая». Такова темная речь поэзии, освещающая будущее. Цитирую по переводу А. Михайлова.

Откуда поэзия возникает в сознании? Я шел, думал о миллионах жертв нашей страны, вдруг в мозг возникла цифра 30 000 000. 30 000 000 секунд в году, просчиталось в уме, каждая секунда вспыхивает загубленной жизнью. В редакции спросили меня: «Где взяли цифру? До сих пор считалось, что около 15—20 миллионов». — «Это образ». — «Ну ладно». Через полгода Рой Медведев привел в печати свои расчеты, оказалось, что действительно жертв было около тридцати миллионов. К сожалению, я оказался прав.

Отцы тоталитаризма были не только преступны, но и стали жертвами неведения. Уничтожив крестьянство, они уничтожили основу, «землю», как определил философ: «Мы эту основу называем землею. С тем, что разумеет это слово, не следует смешивать ни представление о почве, ни даже астрономическое

представление о Планете. Земля — то, внутри чего распускание-расцветание прячет все распускающееся как такое».

Поистине «Россия выстрадала марксизм». Уничтожив основу страны, пытались строить бетонную утопию на иной основе — на море крови. Увы, строили на плывунах. Строили на бездне. Так, фундамент Дворца Советов, возводимый на месте взорванного храма, уходил в разверзающуюся землю. Секрет был утерян или скрылся, подтверждая сокрытие истины по Хайдеггеру. Сейчас мы пытаемся заново подоткнуть землю под собой. Может быть, это и возможно. Строят же японцы острова под собой. Режимы-близнецы, удушившие своих мыслителей, заменили кафедры философии на роты пропагандистов. Гегель предсказывал смерть искусства, но, увы, сначала уничтожили философию. Сейчас забастовали недра «основы», за нищетой бомжа ниже нормы бедности стоит нищета не только экономики, но и нищета духа общества без философии. Это чувствует ТВ, не случайно обратившееся к «Философским беседам».

Отрадно, что «Литгазета» дает полосы гениям русской философии начала века — Бердяеву, Розанову, Флоренскому, но в конце века пора бы давать полосы и новым нашим философам. Жду полос Л. Шестова и о. С. Булгакова. А Вернадский? Но с интересом я прочитал бы, например, и полосу глубочайшего современного философа Мераба Мамардашвили.

Думаю, пора бы посвятить полосу и архиепископу о. Иоанну Сан-Францискому, урожденному князю Шаховскому, брату Зинаиды Шаховской, проповеднику, поэту, печатавшемуся под псевдонимом Странник. Мне довелось бывать у него, он помог мне богословскими советами во время работы над «Юноной и Авось», помогли письма от него.

Полезно было бы рассказать о Н. Чомски — он мыслитель отменный. Вообще философия, как и воздух, неделима государственными и иными границами. Сейчас ясно, что самое значительное, что

дал XX век философии,— экзистенциализм, объединяя мыслью Россию, Германию, Францию,— мысль безгранична. Идея, лежащая в основе мироздания, подменяется у нас плоской политической идейностью. Увы. Идея прорывается в наш мир сквозь иные поры. Идеалисти-

ческая основа мира как бы защищается против растущей пестицидизации бытия. Повсюду идет высвобождение энергии. Женщина с мальтийским крестом на джинсовке, не касаясь, снимает проказу с пациента. С экранов телевизора необъяснимая энергия заряжает воду в стаканах. На дистанции в тысячи километров снимается боль у оперируемого. Нас подзаряжает музыка. На великих полотнах обнаружены таящиеся сгустки энергии, так же неизъяснимой энергией подзаряжены тексты псалмов и стихотворений. Если в 30-е годы поэт сообщал, что душа болеет болезнью натальной, то сегодня въяве душа лечит натальные болезни.

Подтверждается любимая мысль философа, что тело — это не материя, а форма души.

Нащупывается некая новая энергетическая экзистенция. Идеалистический материализм, что ли. Наука и политические инструкторы объяснить это не в силах. Как считал Хайдеггер, «однозначность науки и логики» не исчерпывает эти сигналы новой истины. И нельзя эти явления превратить лишь в утреннюю гимнастику — некий хатхайогарт.

Назревает новая философия. Не одним марксизмом жива философия. Философия не может быть директивной. Думаю, пора создать у нас Вольную Академию мысли (по типу бердяевской ВАДК), независимую от государства и партаппарата. В ней были бы такие свободные умы, как С. Аверинцев, Л. Баткин, Г. Гачев,

А. Зиновьев, В. Зинченко, Ю. Карякин, Э. Неизвестный, В. Тростников, неосковородцы и, главное, совсем молодые мыслители. С порога будет глядеть на них онтологическая истина, одетая сегодня не в античную тогу, а в опорки Божьего бомжа. Кто за нас может освоить наш самый чудовищный опыт несвободы

и попытки свободы?

Прорежется ли зуб новой философии или все кончится почесыванием десны?

Зуб разума?

СУБРАЗУМ?

По-своему решает это Бердяев: «Моя тема была: ...Можно ли перейти от твор-

чества совершенных произведений к творчеству совершенной жизни?..»

Хайдеггер: «...поэзия есть приношение даров, основоположение и начинание... Это значит не только то, что у искусства есть история... но это значит, что искусство есть история в существенном смысле: оно закладывает основы истории». Такого Гуссерль не знал.

В этом смысле эскизенциализм поэзии 60-х годов набросал впрок основы и некоторых сегодняшних духовных процессов. Метафоризмом, ритмом, поиском новой языковой структуры, что противостояла стереотипу Системы, поэзия предсказала хаос сегодняшних процессов, хаос, ищущий конструктивности. Поэзия являла собой «персоналистическую революцию, которой еще настоящему не было в мире, означала свержение власти объективации, прорыв к иному миру, духовному миру».

Есть недоразумения. Порой поэзию принимали за ее прикладную роль — политику. В то время поэтические подмостки были единственным публичным тысячетиражным местом, не проверяемым цензурой, в отличие от газет, лекций, театра, где требовался разрешающий штампик. Конечно, если поэт слишком преступал запрет, назавтра ему вечер запрещали. Так постоянно и случалось. Но часто запрещали не за главное, о чем сообщала тогда поэзия. Так Галиллеевину арестовали за оскорбление Цесаря, но его учение было совсем не об этом, хотя, конечно, попутно и оскорбляло Цесаря. Об этом говорит торопливый эскизенциализм записей евангелистов.

«Тут субъект философского познания экзистенциален. В этом смысле моя философия более экзистенциальна, чем философия Гейдеггера...» (Бердяев). Бердяев не раз возвращается к выяснению

отношений с Хайдеггером, признавая его талант, но отмечая его рациональность и несравнимость их экзистенциального опыта. Я застал уже другого Хайдеггера, пережившего разрыв с Ханной, — увы, и гении становятся рабами семейных уз, наветов, — пережившего ее отъезд из Мар-

бурга учиться сначала к Гуссерлю, а потом к Ясперсу, а потом и из нацистской Европы, пережившего крах иллюзий, остракизм толпы, сначала правой, потом левой — экзистенциальный опыт душевно надломил его. Ханна называла его мысль «страстной». Рациональная философия — зуб без нерва. Шопенгауэр — кошмар ночной зубной боли.

Классикам русской словесности присуща тяга к немецкой философии. Но лишь В. А. Жуковскому довелось приезжать к Гете. Тайный советник Веймара был слегка уязвлен, узнав, что приезжий поэт — тайный советник Российской Империи.

Почему я отправился ходяком к Хайдеггеру?

В половодье шестидесятых хотелось фундаментальной онтологической истины, еще год оставался до пражского краха надежд, но уже чувствовалась тревога, а в имени последнего германского гения магически хрустели редкие для русского языка звуки «х», «гг», «р», в свое время так восхищавшие будетлян. Еще Велимир «в земле, называемой Германия, находил звук «г» определяющим семена Слова и Разума». Кроме того, вероятно, подспудно пленяла параллель с моим переделкинским кумиром, который учился философии в Марбурге у Когена. В 20-е годы ту же марбургскую кафедру уже вел М. Хайдеггер. Пленяло и изгойство мыслителя, опала у толпы — да что там говорить, много мне дала и во многом утвердила фрайбургская встреча. Темп поездки не позволил мне остановиться и уяснить услышанное.

На речи Хайдеггера наслоились беседы с М. Фридом, «новыми левыми», что были мне близки, несмотря на наши ярые споры (многие из них тогда уже зачитывались Ханной Арендт), с В. Казаком, проклиняемым тогда нашим официозом, с юным Г. Юккером, который создавал шедевры из гвоздей, казавшиеся мне

антиКижами, антиподом деревянному русскому шедевру, построенному без гвоздя.

Надо сказать, что Мюнхен, где находилась Академия, представлялся нашей боевой пропаганде тех лет гнездом рваншизма, там находилась глушиная ра-

диостанция «Свобода». Между тем именно мюнхенская Академия и сам Подевилс старались сблизить наши культуры. Впервые Академия тогда решила избрать в свой состав писателей из нашей страны. Мое избрание почти совпало по времени с избранием А. И. Солженицына. Кемпфе расспрашивал меня о Солженицыне, из-за переводов которого его не пускали к нам. Сашу интересовало все, все об авторе «Гулага». Я поведал о том, что мне было известно. Близко знать его мне не довелось. Познакомил нас Ю. Любимов в своем кабинете, куда А. И. Солженицын поднялся из зрительного зала, посмотрев спектакль «Антимиры». Мы говорили, он сказал о спектакле несколько доброжелательных слов. В другой раз мы с З. Богуславской заехали за ним в Переделкино на дачу к К. И. Чуковскому. Он попросил отвезти его в Москву.

Выезжая из ворот, машина попала в кювет. Было сыро. Пришлось нам с ним вдвоем сзади толкать машину. Он был за левым задним крылом — его обдавало жидкой глиной из-под чертова колеса. Весь плащ был мокрым. Пришлось вернуться. Корней Иванович, охая и всплескивая руками, дал нам отмыться. Так и, не обсохнув, продолжали путь. Он не обращал на это внимания. Полчаса беседовали в пути. Об этой дороге написались тогда стихи «В дождь как из Ветхого Завета», которые удалось напечатать в книге 1975 года. Затем А. Солженицын написал мне записочку в ЦГАЛИ, разрешающую прочитать его

роман «В круге первом», тогда уже конфискованный. Приезжая в США, мне доводилось навещать М. Ростроповича, Э. Неизвестного, Н. Коржавина и других близких по Москве. Видеть Солженицына не довелось — зная, как напряжен режим, я ни разу не пытался нарушить его уединение. Лишь однажды, разгово-

рившись у знакомых с его сыном, статным студентом киноколледжа, я порадовался, узнав новости его семьи.

В Германии еще раз я побывал год назад. Слова «Мюнхен» и «академия» вызывают у меня сегодня шум в затылке и головную боль, крик таксиста: «ложись,

бля!..», удар и вид запекшейся шапки, очищаемой снегом от крови. На подмосковном шоссе мы врезались в рефрижератор. Я отделался сильным кровотечением и сотрясением мозга. Отлежаться не пришлось, так как через четыре дня был благотворительный вечер, который проводили таганцы в Лужниках для сбора средств в фонд Высоцкого, а через неделю надо было ехать в Мюнхен для выступления в Академии на русской неделе. С той поры и остались головные боли. Все обошлось, вероятно, потому, что Боб Гребенчиков, как мне рассказали, узнал в Ленинграде об автоаварии, пошел в храм и поставил свечку.

Бог раскрывается внутри творения, учит М. Хайдеггер. Сегодня имя философа мало что говорит нашей публике.

Хайдеггер? «Харю, гад, отъел?!» «Хай с горы?!» «Хардроккер?» В Кельне расцвело Общество Хайдеггера. А есть ли у нас Общество Бердяева?

Европа сейчас переживает хайдеггеровский бум, газеты печатают полосы о нем, выходят книги. Экологи, зеленые, берут его своим знаменем. Молодых американцев привлекает в нем характер, оставшийся собой, несмотря на любые воздействия среды. Если бы они знали, какой это дается ценой и что творится у него внутри! «Язык создает человека» — это повлияло на многих французских леттристов, заокеанскую «лэнгвич скул». Но в 60-е годы европейские интеллектуалы игнорировали его.

В июне в Доме литераторов меня остановила миниатюрная женщина, похожая на медноволосого тролля в кукольных брючках. «Я — Рената, профессор истории во Фрейбурге. Я студенткой видела вас с Хайдеггером. Признаться, он нас тогда не очень-то интересовал. Мы бегали смотреть на вас...» Заезжий иностранец был

для них интересней отечественного гения! Его обвиняли в ослеплении рейхом. «Заблуждения гения» (Х. Арендт) Виновы ли в сталинизме Шостакович, Пастернак, Корин, жившие и работавшие при режиме?

Впрочем, читая его кодовые понятия «земля», «почва», «бытийность», и правда может показаться, что мы имеем дело с ретроградом, хотя и образованным. Ведь и нацисты купились на эти символы. Он на полстраницы влюбленно воспеваает крестьянские башмаки. Но, увы, эти башмаки крестьян, народа написаны не унылым копиистом, а Ван Гогом, «дегенератом» и дьявольским наваждением для ретроградов. Ханна назвала его почти убийцей Гуссерля в письме к Ясперсу. Хайдеггер почуял силу национальной стихии и ее исследовал. Мы, игнорировавшие ее, ныне пожинаем плоды. Нацисты уже в 1935 году разгадали философа, отстранив от руководства во Фрейбурге, положив конец иллюзии об их общности. Его Ханна удерживала от увлечения итальянскими футуристами, считая их схожими с «Майн кампф».

В 1935 году он пишет: «...поэзия есть... начинание... Искусство дает истечь истине... может ли искусство быть истоком и должно ли оно быть за-скоком вперед или же искусство должно оставаться творением, добавляющим и дополняющим, чтобы находиться тогда рядом с нами наподобие любого ставшего привычным и безразличным явления культуры».

Такое искусство «лицом назад» существовало не только сегодня. Назовем это явление экс-истинализмом. И не поддадимся его темным соблазнам.

Чем русский экзистенциализм отличается от западного? Раскроем «Самопознание» Бердяева: «...для меня экзистенциальная философия была лишь выражением моей человечности, человечности, получившей метафизическое значение. В этом я отличаюсь от Гейдеггера, Ясперса и других...»

Отцы русского богонаправленного Экзистенциализма Бердяев и Шестов видят смысл истины в творчестве: «...человек

должен сам стать Богом, т. е. все творить из ничего», — написав эту фразу, Л. Шестов сразу за ней приводит загадочные слова Лютера: «...богохульство звучит иной раз приятнее для слуха Божьего, чем даже Аллилуйя или какое хотите торжественное славословие. И чем ужаснее и отвратительнее богохульство, тем приятнее Богу». Думается, есенинские «кощунства» («я на эти иконы плевал» и иные строки, похлеще) звучат куда угоднее Богу, чем пресное чистописание. Это отношения поэта с Богом — они не для непосвященных. Да любая метафора-озарение Есенина, Заболоцкого, Дали или Филонова идет «от Бога», а непосвященными воспринимается по малограмотности как кощунство. Наши блюстители пытаются представить художника по своему подобию, замарать его, по-братски делясь с ним своей грязью: «...Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы...» — как будто сегодня Пушкин написал это.

«Творение сохраняется в истине, совершаемой им самим. Охранение истины совершается потомками».

В июне этого года я был свидетелем того, как африканец в лиловой тоге вдруг пылко завел дискуссию о Хайдеггере. Это было на будапештской горе, где проводил очередное собрание Культурный Фонд Гетти, основанный современными западными третьяковыми — красивой, витающей в грезах Анн Гетти и издателем лордом Джорджем Вайденфельдом, опубликовавшим в свое время «Лолиту» и боровшимся за нее на процессе. Ими движет миссия сохранения истины.

Стояла жара. Дикая лесная часть кладбища была прокалена. Среди завала вчерашних венков и трехцветных лент мы с В. Лакшиным и В. Маканиным подавленно положили на могилу Имре Надя розы, привядшие по пути. Имре Надя и его товарищей, убив, закопали под чужими именами, лицом вниз, чтобы еще больше надругаться над трупами. «Вы хотите венгерской революции?!» — слышу давний крик моего кремлевского оппонента.

А в радиофицированных дворцовых залах Академии шел спор европейской, африканской и азиатской культур. «Сущность истины есть в себе самой перво-зданный спор, спор за открытую середину, куда вступает и откуда... выступает все сущее»..

Вест-истина? Ист-истина?

Не только политика и экономика, но и несовместимость этих высвободившихся центростремительных истин сотрясает сейчас пространства нашей известной страны.

Так вот Африка заговорила о Хайдеггере. Заоблачный Дюрренматт, протирая очки от высотного тумана, заявил, что национальная волна лишь несла философа по течению и в силу непонятности философию его пытались использовать.

М. Крюгер поведал, что поколение его да и бунтари 68-го года Хайдеггера не читали, упустили его философию. Разговором увлеклись и Нобелевский лауреат удивительный поэт Чеслав Милош, и седобородый Роб Грийе, и Адам Михник, любимец форума, фавн «Солидарности», запойный чтец русской литературы, и прозаик из ЮАР Надин Гордимер, и Сюзан Зонтаг.

Когда я рассказал о своей встрече с Хайдеггером, вдруг оказалось, что ни одному из присутствующих не довелось беседовать с ним. И, правда, странно, что не немец, а русский зачитал выдержки из своей беседы с европейским философом. Тогда я и решил напечатать эти странички — преступно скрывать даже малость, касающуюся гения.

Есть в конспекте графа и крупницы доселе неизвестной информации. Например, ни разу в своих работах Хайдеггер до сих пор не упоминал Зигмунда Фрейда. Хотя у них много общего, а ученики Фрейда, особенно швейцарец Бинсвангер, открыто соединяли Фрейда с Хайдеггером.

Фрейдеггеры?

Граф записал:

«Вознесенский спрашивает об отношении Хайдеггера к психоанализу. Хайдеггер

высказывается отрицательно. Он решительно отделяет себя от Фрейда и его учеников».

«Вознесенский рассказывает, что, когда была опубликована «Оза», к нему домой приходили трое психоаналитиков, чтобы обследовать его психическое состояние.

Они усмотрели в нескольких фрагментах поэмы психические аномалии. Однако, на его счастье, все три экспертных заключения противоречили друг другу...»

Наивный граф! Он считал, что все наши психиатры — психоаналитики. Увы, у нас в те годы Фрейд был запрещен. Большинство семей на Западе имеет своих психоаналитиков. Не думаю, что мы психически здоровее.

После войны Ханна прислала ему открытку без подписи: «Я здесь». Они встретились. «Ханна несколько не изменилась за 25 лет», — сухо отметил он. Он был страстью ее жизни. Его портрет стоял на столе в Иерусалиме, где она писала о процессе Эйхмана. Она простила Хайдеггера. В дневнике она назвала его «последним великим романтиком».

Переворачиваю последнюю страничку конспекта. Растворяются в памяти судетский граф, написавший их, обиженный пузырь Саши, жилетка великого неразгаданного хозяина — земные облоочки идей. Они испарились, оставив нам вопросы. Возможно ли эскизировать истину?

«Находимся ли мы исторически, в нашем здесь-бытии, у истока? Ведомы ли нам сущность истока, внимаем ли мы ей? Или же в нашем отношении к искусству мы опираемся только на выученное знание былого?»

Каков наш сегодняшний эскизэнциализм? Являет ли Фрэнсис Бэкон эскиз эмбриона будущего? Сможет ли искусство создать третью реальность? Что за откровение мысли родит наш чудовищный экзистенциальный опыт?

Будут ли потомки идентифицировать череп нашей эпохи по гениальному коренному зубу Хайдеггера?



ГОЛУБОЙ ЗАЛ С ЧЕРНЫМ КАМНЕМ

Черный ящик моей памяти захрипел, разразился непотребной бранью, заплелся. Из него выскочил целлулоидный болванчик.

Кремлевский голубой Свердловский купольный зал зашуршал, заполняясь парадными костюмами и скрипящими нейлоновыми сорочками, входящими тогда в обиход. Это в основном были чины с настороженными вкраплениями творческой интеллигенции. Было человек шестьсот. Шло 7 марта.

Трибуна для выступающих стояла спиной к столу президиума, почти впритык и чуть ниже этого стола, за которым возвышались Хрущев, Брежнев, Суслов, Косыгин, Подгорный, Козлов (тогдашний фаворит, каратель Новочеркасска), Полянский, Ильичев... Их десятиметровые портреты украшали улицы по праздникам. Их несли над колоннами.

Я впервые был в Кремле. Как родители радовались — меня в Кремль позвали! На двух предыдущих встречах с Хрущевым я не присутствовал — мы с В. Некрасовым и К. Паустовским были по приглашению во Францию, я там еще остался для выступлений. Все было впервые тогда: стотысячные заявки читателей на поэтические сборники, рождение журнала «Юность», съемки необычного внешнего хуциевского фильма, первый вечер русского поэта в парижском театре и накануне первый в истории вечер поэзии в Лужниках — все было впервые после сталинских казарм. Мы связывали это с Хрущевым. Ростки гласности бесили аппарат. Уже по официозной прессе тех дней было понятно, кого будут прорабатывать на кремлевской встрече, — появилась статья «Турист с тросточкой», с которой началась травля В. Некрасова, вытолкнувшая его затем в эмиграцию, подвал Ермилова против Эренбурга. Те же «Известия» редакционно ударили по моим стихам в «Юности». К постоянной ругани в прессе мы привыкли. Я считал, что Хрущева обманы-

вают и что ему можно все объяснить. Он был нашей надеждой. В первый вечер заседания Хрущев был хмур, раздраженно перебивал седого режиссера М. И. Ромма, однако обаяние Чухрая смягчило его, и он не стал разгонять Союз кинематографистов, как это уже было предreshено. В первый день нападали на Эренбурга, и все чаще, как по сценарию, стали упоминаться имена мое и Аксенова. Запомнился писатель, стоявший на трибуне вполоборота, обращавшийся больше к сидящему сзади Хрущеву, отводя спину вбок, как собака вежливо отводит зад и оглядывается, когда бежит впереди хозяина. Особенно усердствовали против меня А. Прокофьев и А. Малышко, под гогот предложивший мне самому свои треугольные груши... околачивать, согласно соленой притказке. Они заводили Хрущева. Тот делал вид, что дремлет.

Вот как вспоминает об этом М. И. Ромм:

«Два выступления были ключевых, я бы сказал. Одно — донос в очень благородной форме о том, что Вознесенский давал интервью в Польше, и в этом интервью был задан вопрос, как он относится к старшему поколению и т. д., как с поколениями в литературе. И он-де ответил, что не делит литературу по горизонтали, на поколения, а делит ее по вертикали, для него Пушкин, Лермонтов и Маяковский — современники и относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. И из-за этого разгорелся грандиозный скандал. Это уже было во второй день, по-моему».

Крыть мой термин «вертикальное поколение» начала первой, кажется, В. Василевская. Зал не очень-то понял, но возмутился. Действительно. Совсем еще недавно исключили и травили Пастернака, по указанию Хрущева Семичастный кричал, что Пастернак «хуже свиньи» — «...свинья не сдает того, что он сделал... Он нагадил там, где он ест». На судилище в ревущем зале собрания Союза писателей ораторы вопили по сценарию: «Господин Пастернак, вон из страны!» И вдруг того же Пастернака называ-

ют в одном ряду не со свиньей, а с Пушкиным...

Тут Глава Державы сделал вид, что проснулся, и странно высоким писклявым толстяковым голосом потребовал меня на трибуну.

Повторяю, он был нашей надеждой тогда, и я шел рассказать ему, как на духу, о положении в литературе, считая, что он все поймет.

Но едва я, волнуясь, начал выступление, как меня сзади из президиума кто-то стал перебивать. Я не обернулся и продолжал говорить. За спиной раздался микрофонный рев: «Господин Вознесенский!» Я попросил не прерывать и пытался продолжать говорить. «Господин Вознесенский,— взревело,— вон из нашей страны, вон!»

По сперва растерянным, а потом торжествующим лицам наполнявшей зал номенклатуры я ощутил, что за спиной происходит что-то страшное. Я обернулся. В нескольких метрах от меня вопило потное, искаженное злобой лицо Хрущева с закатившимися в истерике желтыми белками. Глава Державы вскочил, потрясая над головой кулаками. Он был невменяем. Разило потом. «Господин Вознесенский! Вон! Вы клеветецте на Советскую власть! Катитесь к такой-то матери из страны! Вон!! Товарищ Шелепин выпишет вам паспорт!» Дальше шел совершенно чудовищный поток. «Вы хотите венгерской революции у нас... Вон!» (Я не ослышался, он прокричал не «контрреволюции», а «революции».)

«За что?! Или он рехнулся? Может, пьян?» — пронеслось в голове. (Такое с ним случилось однажды, когда он, сняв туфлю, стучал ею в ООН.) Только привычка ко всякому во время выступлений, видно, удержала меня в рассудке.

Из зала, теперь уже из-за моей спины, нарастал мощный скандеж: «Долой! Позор!» Из первого ряда подскочило брезгливо-красивое лицо: «В Кремль! Без белой рубашки, без галстука?! Битник!» Позже я узнал, что это и был Шелепин, тогда председатель КГБ. Мало кто из присутствующих знал слово «бит-

ник», но сразу подхватили: «Битник! Позор!»

В ополоумевшей от крика массе зала мелькнуло обескураженное лицо О. Ефремова, взметенные бровки Ю. Завадского. Помню бледные скулы А. Тарковского и Э. Неизвестного. Они

были подавлены.

Метнувшись взглядом по президиуму, я столкнулся с пустым ледяным взглядом Козлова. И он, и все остальные члены президиума глядели как бы сквозь меня. Как остановить этот кошмар? Все-таки я прорвался через всеобщий ор и сказал, что прочитаю стихи.

Тут я задел рукавом стакан, он покатился по трибуне. Я его поднял и держал в руках. Запомнились грани с узором крестиками кремлевского хрустального стаканчика. Запомнилось, как Козлов внимательно и настороженно взглянул на мою руку со стаканом.

«Никаких стихов! Знаем! Долой!» — упоенно вопили вокруг. Зал хотел крови.

И тут в перекошенном лице Главы я увидел некую пробивающуюся мысль, догадку, будто его задело что-то, пробудило сознание, что-то стало раздражать — или это мне померещилось? — будто бы он увидел в ревушей торжествующей толпе свою будущую гибель, почуял стихийную силу взбесившейся неподконтрольной номенклатуры. Через год она свернет ему шею. Набычась, он обиженно протянул: «Нет, пусть прочитает». Когда я дошел до строк:

Какая пепельная стужа
сковала б родину мою?
Моя замученная Муза,
что пела б в лагерном краю?
...когда по траурным трибунам
самодержавно и чужунно,
стуча, взбирались сапоги!
В них струйкой липкой и опасной
стекали красные лампы...

— зал злорадно затих. В те дни, теряя контроль над процессом, Глава давал в политике задний ход. Читая, я, как обычно, отбивал ритм поднятой рукой. Когда кончил, из угла раздались робкие хлопки и сразу оборвались. «Агент!

Агент! — закричал в зал Премьер. «Ну, вот агентов зовет, сейчас меня заберут», — подумалось. А он продолжал вопить, но уже тоном ниже, видимо, выпустив пар: «Вы что руку подымаете? Вы что руку подымаете? Вы что, нам путь рукой указываете? Вы думаете, вы вождь? — И тут, бранясь, он, видимо, назло залу или машинально назвал вдруг меня «товарищ Вознесенский». А может быть, за несколько минут чтения он вынужден был помолчать и тут понял, что перебрал? Он взмок от получасового ора, рубашка прилипла темными пятнами.

Но он и не думал передыхать.

— Ну, теперь, агент, пожалуй сюда! Ты, очкарик!! Нет, не ты, а ты, вот ты, в красной рубаше, ты — агент империализма, — короткий пухлый палец тыкал в угол зала, где сидел молодой художник Илларион Голицын, график, ученик Фаворского. Он-то, оказалось, и хлопал мне.

Худющий Илюша, меланхоличный, задумчивый, честный, весь не от мира сего замаячил на трибуне.

— Почему хлопал?

— Я люблю стихи Вознесенского...

— Да?! А еще что ты любишь?

— (Подумав.) Я люблю стихи Маяковского.

— Чем докажешь?

— (Подумав.) Могу наизусть прочитать.

— А зачем на трибуну вышел?

— (Подумав.) Вы позвали.

— Ну, говори, если вышел.

— Я не собирался выступать, я не знаю, что говорить.

— А сам кто ты есть?

- (Подумав.) Я — Голицын.
- Голицын? Князь? (Гогот в зале.)
- (Подумав.) Я — художник.
- Ах, художник!! Абстрактист!
- (Подумав.) Нет, я реалист.
- Чем докажешь, чем докажешь?!
- (Подумав.) Я могу свои работы прине-

сти, показать...

— Следующий!

Со следующим, В. Аксеновым, он разобрался быстро. Утомился. Объявил перерыв.

Эренбург впоследствии спросил меня: «Как это вы вынесли? У любого в вашей ситуации мог бы быть шок, инфаркт. Нервы непредсказуемы. Можно было бы запросить пощады, и это было бы простительно».

Помню, как в тумане, прослушал его доклад, где он уже хвалил Сталина и приводил нам в пример какие-то беспомощные вирши, помню, как прошел я через оживленную, вкусно покушавшую толпу. Около меня сразу образовывалось пустое место, недавние приятели отводили глаза, испарялись.

Помню, как вышел на темную мартовскую площадь Кремля. Бил промозглый ветер. Играли скользкие блики фонарей на мокрых булыжниках, уложенных плотно, один к одному, подобно злорадным ухмылкам на лицах залâ. Куда идти?

Кто-то положил мне лапищу на плечо. Оглянувшись, я узнал Солоухина. Мы не были с ним близки, да и потом редко встречались, но он подошел: «Пойдем ко мне. Чайку попьем. Зальем беду». Он почти силой увлек меня, не оставляя одного, всю ночь занимал своим собранием икон, пытаюсь заговорить нервы. Дома у него были только маслины. Наливая стопки, приговаривал: «Ведь это вся мощь страны стояла за ним — все ракеты, космос, армия. Все это на тебя обрушилось.

А ты, былиночка, выстоял. Ну, ничего...»

Я год скитался по стране. Где только не скрывался. До меня доносились гулы собраний, на которых меня прорабатывали, требования покаяться, разносные статьи. Один из поэтов, клеймивший с трибуны собрания в Союзе писателей,

требовал для меня и Евтушенко... высшей меры, как для изменников Родины. На латвийском вокзале я натолкнулся на плакат, выпущенный Агитплакатом, где разгневанные мухинские Рабочий и Колхозница выметали железной метлой из нашей страны шпионов и книжку с названием «Треугольная груша». Под плакатом стояла подпись: «Художник Фомичев, текст Жарова». В. Войнович рассказывал, что такой плакат, увеличенный до гигантских размеров, стоял при въезде в Ялту. Но простые люди и на Владимирщине, и в Прибалтике очень по-доброму тогда ко мне относились. По стране искали и клеймили «своих Вознесенских». Худо пришлось тогда И. Драчу и О. Сулейменову. Сознание отупело. Пришла депрессия. Впрочем, был молод тогда — оклемался. Остались стихи. Тогда написались «Сквозь строй», «М. Монро». Материмоей, полгода не знавшей, где я и что со мной, позвонил журналист: «Правда, что ваш сын покончил с собой?» Мама с трубкой в руках сползла на пол без чувств. Через год, будучи на пенсии, Н. С. Хрущев передал мне, что сожалеет о случившемся и о травле, что потом последовала, что его дезинформировали. Я ответил, что не держу на него зла. Ведь главное, что после 56-го года были освобождены люди. Странно, что, несмотря на пережитое, я не испытывал обиды на него. Не испытываю и сейчас. Я долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления, и купецкое самодурство. Да, правда, я отказался подписать поздравление к его 70-летию, когда он, Глава Державы, был в могучей силе, и редакции «Юности» пришлось разбросать подписи в виде автографов не в алфавитном порядке, чтобы не было видно, что не все подписали. Но это относилось к моему пониманию достоинства. Я никогда не забывал того, что Н. С. Хрущев сделал для страны — освободил людей. Да, мемуаристы правы: пройдя школу лицедейства, владения собой, когда, затаив ненависть к тирану, он вынужден был

плясать перед ним «гопачок» при гостях, он, видимо, как бы мстя за свои былые унижения, сам, придя на престол, завел манеру публично унижать людей, растаптывать их достоинство — топал на тоненькую Алигер, на старушку Шагинян, кричал художникам в Манеже «господа педерасы!», санкционированная им травля довела до инфаркта В. Дудинцева, загубила творческую судьбу М. Хуциева. Он не доверял интеллигенции, страшился гласности. Но он ли виноват? Виновата черная Система, воспитавшая его. Ныне опубликовано, как он, придя к власти, первым делом уничтожил документы о своем соучастии в кровавых расправах. Кровь тяготила его, и тем мужественнее подвиг его доклада на XX съезде, который, кстати, давно пора обнародовать полностью.

Не он виноват, черное затмение виновато. Виновны и подхалимы, его окружавшие, типа Подгорного и создателей фильма «Наш Никита Сергеевич». Лысцам он лично подписывал Ленинские премии по литературе за описания своих поездок. Его помощник Лебедев, никак не будучи писателем, не постеснялся устроить себе Ленинскую премию по литературе, такую же, которую имели А. Твардовский и М. Шолохов, и не имел, скажем, К. Паустовский.

Историкам еще предстоит написать портрет Н. С. Хрущева, его великих дел, я лишь рассказал об одном эпизоде, рассказал, что видел и пережил сам.

В своих мемуарах М. Ромм так записал этот эпизод:

«...Пока вдруг во время очередной какой-то перепалки, пока Вознесенский что-то пытался ответить, Хрущев вдруг не прервал его и, обращаясь в зал, в самый задний ряд, не закричал:

— А вы что скалите зубы? Вы, очкарик, вон там, в последнем ряду, в красной рубашке!..»

А вот и о моем злополучном чтении стихов: «Читает, ну не до чтения ему: позади сидит Хрущев, кулаками по столу двигает. Рядом с ним холодный Козлов.

Прочитал он поэму, Хрущев махнул рукой:

— Ничего не годится, не годится никуда.

Не умеете вы и не знаете ничего! Вот что я вам скажу. Сколько у нас в Советском Союзе рождается ежегодно людей?

Ему говорят: три с половиной миллиона.

— Так. Так вот, пока вы, товарищ Вознесенский, не поймете, что вы — ничто, вы только один из этих трех с половиной

миллионов, ничего из вас не выйдет. Вы это себе на носу зарубите: вы — ничто.

Вознесенский молчит. Что уж он там пробормотал, не знаю, не помню...

Тут от этого крика хрущевского на Вознесенского всю эту толпу интеллигентов охватило какое-то странное, жестокое возбуждение. Это явление Толстой здорово написал в «Войне и мире», когда Растопчин призывал убить купеческого сына и как толпа вся, друг друга заражая жестокостью, сначала не решалась, а потом стала убивать».

Что я «пробормотал» в ответ на самодержавное «вы — ничто»? Я тупо повторял: «Я — поэт».

В. Каверин, сидевший близко, расслышал другие мои слова. Он вспоминал в статье «Солженицын»: «Смертельно бледный Вознесенский говорил: «Я — ученик Пастернака».

Я прочитал Ромма лишь в прошлом году, уже в журнале и поражен точностью его памяти, даже некоторые эпитеты сходны с моими записями, например, «холодный Козлов», хотя я не был даже знаком с Роммом, о чем очень жалею. Даже при наступившей гласности воспоминания М. Ромма с трудом пробились в печать — почти год они пролежали в «Огоньке», редакции все не удавалось их опубликовать.

Публикация роммовских мемуаров как бы сняла запрет с темы. Появились еще воспоминания. Вот как я выглядел на трибуне со

стороны, по свидетельству художника:

«Когда впереди зал ревет, а за спиной Н. С. Хрущев неистовствует — ох, несладко это было!» Вспоминает он, как Василевская, известная близостью к Хрущеву, обрушилась на мое (т. е. Достоевского) крамольное высказывание «Красота спасет мир». Оказывается, эта

фраза подорвала социализм в Польше. «Что за красота?! — кричала она, — Когда это приходит в Польшу — это директива. Это вредная работа...» Есть и некоторые неточности в мемуарах — обстановка в зале была нервная, немудрено и перепутать. Например, Василевская

возмущалась интервью не «с двумя поэтами в Польше», а «с поэтом и прозаиком», под прозаиком она имела в виду В. Аксенова. Прокофьев выступал не после Хрущева, а до него, провоцируя того на крик, обличая мою непартийность: «Я не могу понять Вознесенского и поэтому протестую. Такой безыдейности наша литература не терпела и терпеть не может...»

Идейность, партийность — это был лейтмотив брани. Особенно взвились они, когда я заявил, что я беспартийный. И еще сослался на Маяковского. Тут многие из них вдруг узнали, что Маяковский не был членом партии. Они очень обиделись и взбесились. Художник вспоминает и такие слова Хрущева: «...господин Вознесенский! Ты не на партийной позиции. Для таких — самый жестокий мороз... Обожди, мы тебя научим. Ишь ты какой... Пастернак!.. Получайте паспорт и ежайте к чертовой бабушке. К чертовой бабушке!» Зал неистовствовал...» Идиллическую бабушку Генсек не упоминал, «мать» поминал, это я четко помню, а бабушки не было. Но это все мелочи, в основном схвачено достоверно.

Так душа моя приобретала экзистенциальный опыт, общий со страной и в чем-то индивидуальный, что, согласно Бердяеву, и способствует созданию личности.

Многое позабылось, но подушечки пальцев помнят ледяной кремлевский стаканчик, покотившийся по трибуне, помнят четкие хрустальные крестики граней на нем. Глядишь, не останови я этот стаканчик, упави он, разбейся на весь зал — глядишь, и очнулся бы

Премьер от припадка, обстановка бы разрядилась, прибежали бы прислужники осколки заметать, кампания сорвалась бы, не было бы ни проработочных собраний, ни всесоюзного ора, процесс развития культуры пошел бы по-иному...

Но стаканчик уцелел. Случай?

«Чем случайней — тем вернее».



ХАМЯЩИЕ ХАМЕЛЕОНЫ

История одного стихотворения

«Расскажите историю написания вашего стихотворения «Вознесенский — агент ЦРУ», — попросили меня недавно на вечере в зале «Октябрь».

Душа давно забыла эту историю. Но когда ныне секретариат СП единодушно ратовал за издание А. Солженицына, я вспомнил, как впервые был вызван на секретариат для проработки. Невозможимые архивы хранят протокол № 8 заседания секретариата Союза писателей 5 июля 1967 года. Сейчас их устрашающие формулировки кажутся смехотворными, но тогда от них ежились.

«СЛУШАЛИ: О письме поэта А. А. Вознесенского на имя редактора газеты «Правда»...

ПОСТАНОВИЛИ:

Секретариат не может согласиться с точкой зрения Вознесенского, дающей совершенно недопустимую и неверную оценку взаимоотношениям руководства СП СССР с писателями, якобы построенным на системе лжи и обмана... Секретариат резко порицает поведение А. Вознесенского... Би-би-си и другие зарубежные радиостанции изо дня в день передают изложение письма А. Вознесенского в редакцию «Правды», а равно его обращение в секретариат по письму Солженицына на имя IV Всесоюзного съезда писателей...

Секретариат обращает внимание руководства и всех сотрудников аппарата Иностранной комиссии на необходимость повышения бдительности...»

Один эпизод из жизни одного писателя. Но сегодня, когда жаростно обсуждается, каким должен быть Союз писателей и каким не должен быть, что было в нем худого и что полезного, может быть, и этот давний эпизод поможет выяснению истины?

Повод для моего письма в «Правду» был

внешне незначительным. Уже поутих рев собраний, проработавших меня после крика Хрущева. Вышла книга «Антимиры»...

В это время обретал силу жанр правозащитных писем, подписанных интеллигенцией. На подписантов были гонения. Известно «Письмо 63» в защиту Синявского и Даниэля. Вступившихся за писателей не сажали, но жизнь им портили. В защиту Пастернака подобных писем не было: интеллигенция тогда еще не проснулась. Однако первым письмом в защиту Синявского и Даниэля, а может быть, и первой ласточкой подобных документов было «Письмо 18», подписанное В. Аксеновым, А. Гладилиным, Г. Владимовым, В. Войновичем и другими. Подробно об истории этого письма пишет А. Гладилин в своих мемуарах. Стояла под письмом и моя подпись. Конечно, невзгоды авторов этих писем несопоставимы с участием А. Гинзбурга, создавшего «Белую книгу» о процессе.

С, А. Д. Синявским я не был тогда знаком, познакомился позже, уже после его отъезда. Большой радостью и поддержкой мне была его вместе с Меньшутиним статья в «Новом мире», посвященная моей первой книге — «Мозаика». За публикацию этого сборника сняли главного редактора владимирского издательства.

Так что чиновничьи компьютеры порядком поднакопили к этому времени на меня материал и ждали случая проучить за стихи, за высказывания в защиту Виктора Некрасова, за встречу с Керенским в Нью-Йорке, за то, что, открывая мой вечер в США, Роберт Лоуэлл сказал: «Наши оба правительства одинаково постыдны, но поэты должны соединять народы», — да Бог их знает за что? Случай не заставил себя ждать.

А. Солженицын обратился к IV съезду писателей с письмом против цензуры, некоторые писатели, такие, как Г. Владимов и В. Конецкий, написали письма в поддержку Солженицына съезду. Послал свое письмо и я.

Меня потрясла расправа над Солженицыным и отвратная травля его, страшная судьба первого писателя, мощно открывшего тему ГУЛАГа. Пытаясь выступить

в его защиту, я ратовал за право каждого писателя на свободу творчества. Не беря во внимание несоответствие порой наших художественных воззрений, я всегда выступал в защиту Солженицына. Ныне время сделало достоянием читателей почти все запрещенное ранее, но увя еще год назад пришлось подписывать письмо М. С. Горбачеву за публикацию ГУЛАГа и других произведений Солженицына.

Кстати, такие писатели, как Л. К. Чуковская, В. Борисов, В. Каверин, Г. Владимов, Е. Евтушенко, и другие, защищавшие его в трудную пору, сделали куда больше, чем те, кто ныне кликушествует в статьях, а в свое время не проронил ни слова в его защиту, а то и подписывал пасквили.

Но вернемся к злополучному письму. Местью чиновников из Союза писателей стал запрет на мою поездку в США, на выступление в Линкольн-центре по приглашению издателей и Р. Кеннеди. Надо сказать, что тогда приглашение поэта из нашей страны в США на выступления было неслыханной редкостью. Запрещение пришло, когда вечер отменить было поздно, билеты были проданы. Я написал письмо-протест в «Правду». Понимал, что его не напечатают, но все же хотелось высказаться, хоть какой-то гласности хотелось. Конечно, дело было не в эпизоде с поездкой — и задушенный подушкой съезд, и судьбы моих товарищей, которым я читал письмо, и накопленное за годы — все сложилось в сумбур текста. Читаем:

«...Почти неделя как я живу в обстановке шантажа, неразберихи, провокаций... 16 июня я получил официальное уведомление из Союза писателей, что моя поездка для выступления в Нью-Йорке 21 июня на Фестивале искусств (это был единственный вечер поэзии на фестивале, и этот вечер был предоставлен советскому поэту) нецелесообразна... Но черт с ним, с вечером! Забудем, что почему-то сначала все были «за», а по-

том вдруг перерешили. Невыносимо, какой ложью и беспринципностью все это обставляется.

Я работаю, участвую в мероприятиях Союза, а, оказывается, Союз писателей уже три дня как сообщает журналистам, что я тяжело болен. Им, в руководстве Союза,

конечно, виднее, но почему меня хотя бы не известили об этом? Большого идиотизма не придумаешь. Это — издевательство над элементарным человеческим достоинством... Я — живой человек, из мяса, а не марионетка, которую дергают за ниточку.

Почему из радиопередач я вдруг должен узнавать, что, оказывается, «Правительство СССР разрешило Вознесенскому поехать на Фестиваль. Решение о невыезде отменено. Визы выданы. И дело лишь в билете»?

В то же самое время из Союза мне говорят: «Поездка не состоится. Мы отвечаем, что вы больны». Получается, мне врут одно, всем — другое...

Дело не во мне, дело в судьбах советской литературы, в ее чести, в ее мировом престиже. До каких пор мы сами себя будем обливать помоями? До каких пор подобные методы будут продолжаться в Союзе писателей?

Видно, руководство Союза не считает писателей за людей. Подобная практика лжи, уверток, сталкивания лбами обычна. Так обращаются со многими моими товарищами. Письма к нам не доходят, порой на них за нас отвечают другие. Прямо хамящие хамелены какие-то! Кругом ложь, ложь, ложь, бесцеремонность и ложь. Мне стыдно, что я состою в одном Союзе с такими людьми...»

Письмо пошло гулять по Москве самиздатом, впоследствии к нему приплюсовалась стенограмма речи высокопоставленного лица, которое заявило, что, если подобное повторится, «Вознесенского соотрем в порошок». Письмо перепечатали «Монд», «Нью-Йорк таймс» и другие газеты. Ален Гинсберг ходил во главе демонстрации к советской миссии ООН с плакатом: «Выпустите поэта на вечер».

И вот я вызван на заседание секретариата. Впервые я переступил порог могущественного ампириного кабинета.

«ПРИСУТСТВОВАЛИ: секретари правления Союза писателей СССР: тт. Г. М. Марков, Л. С. Соболев, К. В. Воронков, В. М. Кожевников, В. М. Озеров,

Б. С. Рюриков, К. Н. Яшен, С. А. Баруздин, С. В. Сартаков, В. П. Тельпугов, секретарь парткома В. А. Сутырин, секретарь правления Московского отделения СП РСФСР В. Н. Ильин.

В обсуждении этого вопроса приняли участие все товарищи, присутствующие на заседании».

Вел мое дело оргсекретарь Воронков К. В. Говорят, он появился среди писателей во время эвакуации архива, да так и прижился. Холеный, пожалуй, даже красивый, стриженный под полубокс, он, несмотря на белые нейлоновые сорочки, казалось, был всегда одет в ежовскую гимнастерку. Властью обладал огромной, перед ним пресмыкались. Этого ему оказалось мало, он возомнил себя художником слова и даже сделал себя лауреатом премии Ленинского комсомола в области литературы. Газеты называли его крупным советским писателем.

«Как вы смели оскорбить нас?! Кого вы имели в виду под руководством Союза, кто это из нас не считает писателей за людей?! Может быть, меня вы имели в виду?!» — картинным жестом вопрошал Воронков.

«Да, вас», — признался я.

«Крупный писатель» оторопел. Было душно, белая рубашка его прилипла темными пятнами, будто и правда под ней просвечивала поддета гимнастерка. В сердцах он выскочил из кабинета. До конца своей власти Воронков оставался моим мстительным врагом.

Приняли постановление:

«Секретариат осуждает недружелюбный, нетоварищеский, построенный на предвзятости подход А. Вознесенского к деятельности Союза писателей в области международных писательских связей, а также ни на чем не основанный оскорбительный тон письма по адресу

Союза писателей и его правления. Секретариат резко порицает поведение А. Вознесенского.

Отметить, что решение секретариата о нецелесообразности поездки А. Вознесенского в США было правильным».

Часть секретарей упивалась проработкой, унижала. Другие выступавшие чувствовали себя неловко, говорили через силу. Главным образом осуждали, как записано в протоколе, «способ выражения своих претензий путем рассылки письма сразу во многих копиях и затем недопустимо небрежное отношение к документам столь острого политического значения, в результате чего эти документы становятся известными враждебной буржуазной пропаганде. Сдержаннее всех говорил Б. С. Рюриков, тогдашний редактор «Иностранной литературы». Позднее, когда прессинг достиг апогея, он заказал мне статью о переводах Пастернака и напечатал в январском номере. В статье этой я целиком процитировал стихотворение из «Доктора Живаго» «Гамлет», запрещенное тогда. Думаю, Рюриков это заметил, но сделал вид, что не понял. Так «Гамлет» был впервые напечатан в советской прессе.

Удавалось ли общественности изменить участь осужденных? Е. Г. Эткинд в своей книге о процессе И. Бродского описывает вмешательство многих знаменитых и безвестных писателей, в числе прочих он называет и мое имя. Заступались тогда многие, но решающим было подвижничество Ф. Вигдоровой, К. Чуковского и С. Маршака, им и удалось вызволить поэта раньше срока из ссылки в северную деревню. В других случаях, как, например, в освобождении Н. Ахметова, и моя помощь сыграла роль. Мы впервые увиделись с ним уже в Роттердаме, на Фестивале, где он подарил мне свои стихи с прочувственной надписью. Если мне, казалось, было трудно, то как же пришлось тем, по кому били прямой наводкой?

Ну, а вечер мой в Линкольн-центре состоялся без меня. Звучали записи моих стихов. Старейший поэт Стэнли Кюниц, срываясь на хрип, произнес речь протеста. Прессинг нарастал. Я написал стихотво-

рение «Стыд» и прочитал его со сцены на 200-м спектакле «Антимиры».

Нам, как аппендицит,
Поудалили стыд...

Тогда «Литературная газета» 6 сентября 1967 года по велению сверху напечатала в черной рамке материал одновременно против моего письма в «Правду» и стихотворения «Стыд». «...буржуазная пропаганда использовала его для очередных антисоветских клеветнических выпадов. А Вознесенский имел полную возможность ответить на выпады буржуазной пропаганды. Он этого не сделал...» — это было от редакции. А следом аноним, прикрывшийся инициалами, страшил: «Отчет о вашем выступлении и ваша фотография были помещены в газете «Нью-Йорк таймс»... Глаза ЦРУ будут гипнотизировать вас, будут показывать вас по телевидению, будут мягко стелить вам постель, предоставлять в ваше распоряжение красивейших женщин... Америка сильна в подкупках, коррупции... цепкие руки...» Ключевой фразой было: «ЦРУ обожает вас!» Автор уверял меня, что в советской прессе свободы куда больше, чем в американской. Последняя фраза этой заметки нашла в моем письме «душок Светланы». Имелась в виду С. Аллилуева, которая накануне стала невозвращенкой. Такое печатное обвинение восходило к лучшим традициям. Публикация застала меня в Новосибирске. Меня сразу выселили из гостиницы. Вернувшись, я увидел свои пожитки выброшенными в вестибюль. «Сказали, что вы — шпиён», — шепнула мне горничная.

Местные власти на активе объявили, что я скрываюсь, что я просил американское подданство, но меня будто бы поймали.

Словом, ввали кто во что горазд. Спасибо жителям Академгородка, которые приютили меня.

Надо сказать, что у наших умельцев имелись двойники и на Западе. В 1966 году я выступал в Оксфорде. Читал новые стихи. Некий издатель по имени Флегон поставил на сцену магнитофон и записал

мои неопубликованные вещи. Накануне я отказался подписать с ним договор. К тому времени у моих книг были солидные издатели: «Оксфорд-пресс», «Гроув-пресс», «Дабл дэй». Я подошел к магнитофону, вынул кассету с записью моего вечера и положил в карман. Тот взревел, кинулся на сцену, но было поздно. Вечером профессор Н. Н. Оболенский, автор «Антологии русской поэзии», пригласил меня домой ужинать. Был Макс Хэйворд, глубочайший знаток и переводчик русской литературы. Во время ужина меня вызвал статный полицейский офицер: «Мы получили заявление о том, что вы обвиняетесь в похищении частного имущества — кассеты». «Да, но похищено мое имущество — мой голос, он на кассете». «Что же будем делать?» «Давайте сотрем мой голос, а кассету вернем владельцу». Офицер Ее Величества согласился. В присутствии профессора Оболенского запись моего вечера стерли. Кассету вернули. Кстати, я подумал: а как бы вел себя советский милиционер в подобной ситуации?

Флегон был в ярости. Он подал в суд. Мало того, он в качестве мести осуществил пиратское издание моей книги, назвав ее «Мой любовный дневник», предисловию к которой позаимствовали бы Кочетов и Шевцов, обвинявшие меня в антисоветизме. Издательство «Флегон-пресс» имело темное происхождение. Оно специализировалось на компромате на наших писателей: Солженицына, Окуджаву, издавало именно по-русски, и эти книги ложились на столы наших властей, вызывая громы и молнии. Флегон работал на наших сторонников зажима. В стихах я назвал моего преследователя «Флег...но», учитывая уровень адресата. Макс Хэйворд с тех пор говорил о нем только так.

Потерпев фиаско с вызовом меня в английский суд, Флегон издал эту книгу-месь. Предисловие как бы приглашало советские власти заняться поэтом. Конечно, о том, что мы враги и что он подавал на меня в суд, речи в предисловии не было.

Каждая его поэма — это или удар по режиму, или чаевые для того, чтобы власти

Мне сегодня хочется очень
из окошка луну обоссать...

Глупых идей для экспериментов у советских правителей хоть отбавляй: «А если от этого погибнет полстраны, то какое им до этого дело?» Правители вкусят «радость эксперимента». Члены идеологической комиссии ЦК — это стандартные одинаковые создания, у которых вместо головы находится нижняя часть тела... К 50-летию Октябрьской революции Андрей Вознесенский преподносит свой скромный вклад:

Уничтожив олигархов,

 демократией заменишь
 Короля и холуя
 Он сказал: «А на х..у..я?»

Извините, читатель, за нудность цитаты, но именно эта книга буквально в таком

начертании легла на стол властей к юбилею 1967 года. Враги поэзии работали синхронно. И это отнюдь не облегчило моего положения. Перед моим носом потрясали текстом моего письма, отпечатанного «самым антисоветским издательством — НТС».

Это все приплюсовалось к обвинению, что меня «обожают ЦРУ». Тогда я и написал стихи под названием «Я обвиняюсь». Я редко пишу публицистику, это дневниковые стихи, они отражают обстановку, в которой я жил в те дни.

Вознесенский, агент ЦРУ,
притаившийся тихою сапой.
Я преступную связь признаю
с Тухачевским, агентом гестапо.

Подхватив эстафету времен,
я на явку ходил к Мейерхольду,
вел меня по сибирскому холоду
Заболоцкий, японский шпион.

И сто тысяч агентов моих,
раскупив «Ахиллесово сердце»,
завербованы в единовверцы.
Есть конструктор ракет среди них...

И от их недостойных систем
ко мне тянутся страшные нити.
Признаю, гражданин обвинитель,
ну, а ваша преемственность — с кем?..

Такова история одного стихотворения. Опубликовать его удалось лишь недавно, в книге «Ров», внутри статьи. Хэппи энд? Как напоминает в письме Н. П. Угрюмов из Кривого Рога: «Вас защитила Ваша публика — ибо не будь тогда буквально лавины возмущенных писем в Вашу защиту... Народ и в те времена не был послушным управляемым быдлом...» Спасибо читателям. Не жалуюсь на судьбу. Благодарю, что сложилась, как сложилась.

АХ, МИНИСТР, НЕ ПЕСТИЦИДЬТЕ!

Уважаемый министр Ольшанский!

Радостно, что Вы читаете статьи о поэзии. К сожалению, будучи в Барнауле, переполненный впечатлениями, я не смог

сразу откликнуться на Ваше выступление на мартовском Пленуме ЦК КПСС. Цитирую по газете «Правда»: «Министр по производству минеральных удобрений СССР Н. М. Ольшанский доложил Пленуму о том, что... поэт Вознесенский написал статью «Поэзия без нитратов», которую напечатала газета «Известия». В ней он пишет, что в Дании и Голландии закон запрещает применять химические удобрения. На самом же деле там нет такого закона. В Дании вносится более 300 кг на гектар пашни... в Узбекистане... фактически вносится по 4 с половиной килограмма».

Да, конечно, формально такого закона в Дании, может быть, и нет, но и без этого произведенные в Дании овощи стоят на первом месте по экологической чистоте среди стран Европейского сообщества. Грош цена цифрам, если цифры у нас в порядке, а люди погибают от нитратов у нас, а не в Дании. Питались бы Вы, министр, морковью или селитровыми арбузами, которые едят наши люди? Не случайно, видно, Вы цитируете из моей статьи частность и не приводите всего абзаца. Продолжу этот абзац: «Чтобы стать фермером, там надо иметь диплом об окончании сельскохозяйственного института...»

Чтобы получить «зеленую карточку», разрешающую фермерствовать в Дании, действительно надо три года проучиться, сдать минимум, где главные дисциплины — компьютеризация и безопасность обращения с химическими удобрениями. Недурно бы обучить именно сегодня этому наших крестьян. Датчане запрещают применять химию возле рек, пестициды разрешается хранить лишь в специальных контейнерах и т. д. Процитирую следующую фразу, видимо, особо Вас раздражившую и по

этому не процитированную Вами: «Полуграмотное тотальное пользование нитратами стало одной из причин того, что наша жизнь короче жизни среднего американца. Особенно тяжелы показатели в Москве». Почва Подмосковья испорчена Вашей продукцией на 25 лет вперед.

Уже загублены грунтовые воды.

Я спросил у члена-корреспондента АН СССР В. А. Ковда, какие допустимы нормы нитратов. Он ответил, что Всемирной организацией здравоохранения принято 40 мг на 1 литр воды. Нормы в продуктах тоже исчисляются десятками мг.

14 января 1989 года, наверное, в то же время, когда Вам готовили Ваш доклад, сотрудница Биологического центра АН СССР в Пущине кандидат наук Лидия Геннадиевна Кузнецова произвела замеры в типичной студенческой столовой. В капусте, которую едят студенты, содержание нитратов оказалось 4560 мг на 1 кг. В редиске — 5700 мг. В салате — 6350. Кабачковая икра дает 2800—3700 мг. Особо опасен морковный стержень.

Лидия Геннадиевна замерила морковное пюре, которым рекомендуется кормить у нас детей до 1 годика. Оказалось — 1245 мг на 1 кг! Дата выпуска пюре — 16 сентября 1988 года. Аппетитный морковный сок, выпущенный 23 сентября 1988 года, дает 1100 на литр. А Вам все мало! Вы сетуете, что производство удобрений «у нас достигло опасного минимума». Почему Вы не привели этих цифр? Ваш «минимум» на сегодня не просто опасен, он преступен.

Не найдя у нас датской фруктовой смеси для детей, Лидия Геннадиевна замерила финскую. Оказалось — от 46 до 66 мг. Датская же смесь еще более чистая. Как это получается, что датчане, используя якобы в сто раз больше нашего пестицидов и нитратов, в продуктах имеют в 100 и 200 раз меньше нашего?

Производят в Дании овощи и абсолютно без химии. Из них 1/5 идет на экспорт. Конечно, стоят они на 50% дороже. Но их охотно покупают. Ведь лучше съесть 2/3 яблока натурального, чем целое отравленное.

Вы нечестно критикуете узбекского писателя Адыла Якубова. Адыл не цифры знает, он живет там. Именно за это равнодушие его избрали сейчас народным депутатом.

Я понимаю, что без удобрений не обойтись, но пестициды надо «пипеткой применять», а при нашем бескультурье это превращается в преступление. Катастрофа Вашего завода химудобрений объединения «Азот» в Ионаве, погибшие и слепнувшие там люди показали, какое страшное чудовище у Вас в руках. Под силу ли Вам удержать это чудовище?

Даже единственный абзац о нитратах из моей статьи о литовской поэзии XVIII века раздражил Вас. Вы, как ценитель литературы, конечно, понимаете, что там нитраты приведены лишь как метафора духовного и нравственного оскудения. Меня беспокоит, что во всем Вашем выступлении не нашлось даже одного словца сожаления о том, что почва, грунтовые воды и здоровье людей загублены изделиями Вашего министерства. Это невосстановимо. Посоветую Вам читать литературу не только художественную, но и книги члена-корреспондента АН СССР А. В. Яблокова о ядохимикатах.

Как известно, повышенная доза нитратов в организме ведет к смерти, меньшие дозы вызывают подавленность, депрессию, раздражимость. Не потому ли так хмуры у нас люди, так стали агрессивны последнее время, потому что питаются бог знает чем, что постепенно пропитываются нитратами? Меня, как поэта, не может не беспокоить душевное состояние нации. Может быть, не пресловутый рок-н-ролл виновен в нынешнем росте преступности и жестокости людей, а дело в том, что несколько поколений выращены на нитратах? Может быть, и Ваше раздражение статьей о поэзии связано с тем, что даже в Вашу пищу попадают пестициды?

Я не специалист, не мне судить: необходимо ли иметь целое министерство союзного значения для выпуска химических удобрений. Кстати, в Дании и в Швеции, где овощи даже еще более чистые, таких

министерств нет. Зато есть министерство охраны окружающей среды.

Благодарю за Ваши советы, желаю Вам здоровья, успехов в работе и хотя бы немного человечности, без которой никакие цифры не будут праведны. Думая о Вас, беспокоясь о Вашем душевном

состоянии, зная Ваш интерес к поэзии, я посвятил Вам стихотворение. Первыми слушателями его были 24 марта трудящиеся Калининграда Московской области, за ними — жители столицы в зале «Октябрь». И тем, и другим эта тема оказалась близка.

Сожалею, что нам приходится общаться при помощи печати и аудиторий, но Вы сами выбрали такой способ общения.

R. S.

После опубликования переписки пришло много потрясенных и поддерживающих писем. Академик МН Л. Баделян пишет, что нитраты губят детей и могут привести к вырождению нации. 50% детей в нашей стране больны. 90% — пограничные. Наша страна находится на 47-м месте по продолжительности жизни. Большая заслуга в этом нитратов и пестицидов.

Выступая на I-ой Всесоюзной конференции «Экологические проблемы накопления нитратов в окружающей среде», которая состоялась в Пущино в октябре с. г., гость из ЧССР д-р Павел Биек поддержал мою статью и призвал ввести для тех, кто применяет нитраты, Права, как для автоводителей. Специалист в области онкологии д-р А. П. Ильницкий потребовал: «срочно надо снизить нитратную нагрузку на население», указав, что во многих наших районах потребление нитратов на душу — 500—800 мг в сутки. (Допустимой нормой в ФРГ считается 57 мг/сутки!) Может, считают; «что немцу — смерть, то русскому — польза»?! Но зачем же людей травить? Не бросаю тень на всех производителей — так люди, производящие кокаин, отнюдь не все принадлежат к наркомафии — в минимальных дозах кокаин применим в медицине. Химию можно применять деликат-

но, а не преступно. Например, по технологии д-ра б. н. О. А. Соколова серпуховский совхоз «Большевик» добился экологически чистой продукции, применяя лишь 90—100 кг азот. удобрений на га. В то время как в остальном Подмоскovie вносится 500—700 кг/га. Если моя трево-

га, пусть даже раздражив кого-то из специалистов, подтолкнула его задуматься и укоротить рост пестицидизации и нитратизации, моя скромная цель достигнута. Может, какие-то рязанские или узбекские детишки избегают аллергии...

Думается, главное сейчас не только говорить, что плохо, и тем более не угрожать и не преследовать женщину, которая подвижнически назвала преступные цифры содержания нитратов в нашей пище (ах, выдала государственную тайну!), а искать пути выхода, людей надо спасать.

Когда я был в Копенгагене на конгрессе Бора, меня пригласили поехать на экологически чистую ферму. Оказывается, датская газета «Политикен» тоже перепечатала мое письмо и стихи, хоть поэзия непереводаима. Наивные датчане удивленно сказали мне, что в докладе министр по рассеянности, видно, вместо цифры минеральных удобрений в Дании привел общую цифру и минеральных и... натуральных удобрений.

Гигантское хозяйство фермы расположено в бывшем королевском замке. Это — коммуна. Молодой директор возит меня по полям. Они производят морковь, лук, капусту, картофель. 450 га. Тысячи яблонь. Коровы. Овцы, 100 автомашин. Засевают поле сменно — картофель, лук, зерно, клевер. Так они избегают истощения почвы. Поют птицы. Их специально заселили в сады для уничтожения насекомых. Сам директор год учился в сельскохозяйственном техникуме и 3 года проходил практику.

Цена моркови — 1,25 от обычной цены, лука — 1,50. Не очень дорого, зато безопасно. Государство доплачивает им потери в доходах. Я отнюдь не специалист, думаю, что нашим специалистам пора бы приехать и изучить секрет успеха. Шведское правительство покупает у них экологически чистую морковь для бесплат-

ных завтраков в шведских школах. Западная Германия покупает чистые яблоки, хоть они и немного дороже химизированных, тоже для бесплатных завтраков в школах. Так государства заботятся о своем будущем. В Швеции я говорил с министром сельского хозяйства — они

тоже доплачивают экологически чистым фермам. То же в Австрии. Обедаю с фермерами. Просто и вкусно, будто свежий ток энергии наполняет тебя. Общая столовая — как с утопических картинок. Можно обедать на воле. На двери написано алым русское слово «Гласность». Гитары. Большинство молодых загорают. Как обычно здесь, «topless». Разговорились. Здесь спасают европейскую природу люди отовсюду — не только датчане, но и немцы, французы, американцы, один перуанец. Они работают и учатся на практике вести хозяйство. Только нет ни одного человека из нашей страны. Хотя их не раз приглашали. Будто в нашем сельском хозяйстве полный ажур.

А действительно, почему бы не приехать группе молодых наших крестьян? И себя бы показали, и поучились бы. Петр I, будучи императором, не считал зазорным поучиться. Думаю, что наши молодые крестьяне приехали бы с радостью. Есть проблески и у нас. Я говорил уже об опыте серпуховских аграриев, последователей О. А. Соколова. Еще ранее экологически чистой продукции добились чувашские хозяйства. Значит, можно и в наших условиях.

P.P.S

Ученый М. А. Кан, находясь в командировке в Дюшанбе, подсчитал, что на каждого жителя г. Дюшанбе приходится 140 кг молока, 32 кг мяса и 68 кг пестицидов в год, т. е. ядохимикатов приходится в 2 раза больше, чем мяса. А пока мы с энтузиастами из Экологического центра идем с индикатором на московский рынок. 11 милых бабушек торгуют вкуснейшей квашеной капустой. Пробуем капусту на индикатор. Цвет бурно малиновый. 9 из 11 сверхопасны.

В своих последних стихах я замечаю повтор: «Господи, спаси страну, храни страну, помилуй нас...» Так само написалось. Я не стал убирать это из сборника. Молитвы повторны. Может, услышат не только небеса, но и люди.



ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ СЕРДЦЕ ВИОЛОНЧЕЛИ

Бесконечный, астрально высокий и низко
бреющий смычок разрезает нашу жизнь
надвое.

Я запомнил его в иссиня-черном, мохнатом пальто-бобрик, похожим на отяжелевшего шмеля, неуклюжего и одновременно летучего, подобно полету смычка в его шефских концертах.

Париж? Сыктывкар? Сен-Готар? Сен-Санс?

Его виолончель упирается в пол острым мысыком, повторяя снизу очертания сердца.

Попробуйте собирать музыку с медвяного клевера, когда все цветы полны радиацией...

Мы встречаемся с ним обычно ночью. Так уж случается.

Первую ночь помню во Владимире, куда мы приезжали с «Поэзией». Он гудел. Гудело послеконцертное пиршество. Столы ломились от тостов. Р. Щедрин, М. Плисецкая, Л. Зыкина, бледный дирижер, с испариной на лбу, хормейстеры, звезды оркестра. Солисты хора, местные светила после духовной самоотдачи концерта отдавались языческой, земной стихии. Языковая сочность, в иные часы показавшаяся бы вульгарной, как голая плясунья, отплясывала на столе, поражая онемевших хористов. Олимпийцы отдыхали.

Но самым мощным сгустком бытийственной гудящей энергии был он, летучий увалень, раблезианец в иссиня-черном фраке, с подвижным лицом, округлым мраморным подбородком и острым носиком. Все называли его «Слава». «Две бутылки «Пшеничной» убрал», — восхищенно шепнула про него первая скрипка.

Так мы познакомились с Ростроповичем. Он страстно доказывал мне что-то о фресках и о каких-то бесхозных трубах, которые видел по дороге из Москвы и которые надо бы пристроить.

Уезжали мы поутру. Слава стоял на балконе и, обтирая торс мохнатым полотенцем, свежий, как стеклышки очков, чи-

тал нам вслед на память стихи.

Гений и фигура Ренессанса, он легко носил на плечах фрак любимца вельмож, баловня народа, позванивая наградами, ведя свою опасную партию уверенно и виртуозно. Думаю, он первый из музыкантов, обычно аполитичных, бросил вы-

зов Системе, заступившись за судьбу литературы — поставив на карту свою судьбу. Покорив мир, заполнив звуковое пространство планеты волшебством своего смычка и дирижерской палочки, он стал коллекционировать дома — в Европе, в Америке, — заполняя их спасенными им шедеврами русской культуры.

Помню ночь в его парижской гигантской квартире на ав. Ж. Мандель. Он тогда уже был запретной фигурой, невозвращенцем. Встречи наши по традиции оставались ночными, главным образом потому, что во время поездок дни забиты до предела, да и он приглашал ночью, он берег вас, не желая компрометировать гостя приездом в дом к «врагу народа». Он-то знал, что такие встречи не поощрялись. В ночи же есть тайна.

Беседы шли в обществе портретов Рокотова, Брюллова, Христа кисти А. Иванова, портрета Петра I, копия которого находится в Эрмитаже. Да и сам хозяин и хозяйка редкой красоты и гневной стати были такими же шедеврами русской культуры.

На окнах с пуленепроницаемыми стеклами висели кружева с романовскими орлами, на малахитовых столах лежали кубки первых самодержцев, хозяин доставал и зачитывал царские грамоты и письма Солженицына, водил полюбоваться финской баней, которую выстроил в особняке парижского рококо, опускал в прохладу погреба, где шпалерами лежали горизонтальные ряды Бордо под номерами. Глядел Николай II кисти Серова.

Под пристальным взглядом венценосцев именно им я поведал историю, как, будучи в Свердловске с «Литгазетой», попросился осмотреть Ипатьевский подвал, где была расстреляна императорская семья, и выломал из окна деревянный фигурный переплет, на который глядели убиенные перед казнью. Этим я спас историческую архитектурную деталь — дом через

пару месяцев снесли, все остальное уничтожив.

Сейчас мне приходит много писем, связанных с судьбой Романовых. Родственница воспитателя наследника хранит покрывало, вышитое перед казнью руками княгини Ольги.

Из Свердловска на днях пришло письмо с рассказом старого жителя Меднорудянской улицы Орефия Будникова, у которого на задах дома были газовые ямы, в которые сливали смоляные отходы. По его утверждению, там, в этих ямах, были захоронены Романовы. «Дорога на Коптяки проходила мимо газовых ям. Когда везли трупы, то боялись, могли сделать засаду и перехватить».

Вензеля с коронами на столовых приборах прислушивались к разговору. Говорили о многом. Хозяин спустился в погреб за новой бутылкой. Вдруг в передней раздался звонок. В прихожей засуетились. В обеденный зал вошел Л. И. Брежнев. Он приехал без сопровождения. Они с Ростроповичем были знакомы по Москве. Генсек сразу оценил обстановку и занял место тамады. Он поднял тост за хозяйку, потом за гостя. У меня пересохло в горле. Я читал в газетах, что ожидается визит в Париж, но думать было некогда — тост с легкой задержкой речи обращался ко мне.

Сначала слова были невразумительны, но добры, потом в них стала нарастать угроза. «Душно», — сказал Брежнев, снял с головы резиновую, как у Фантомаса, маску и оказался хохочущим и потным от резины Славой. Такие пластиковые маски продавались в магазинах. Шутка была озорной и страшной — это был год Афганистана.

Врезался и другой эпизод — венчание его дочери. Слава и Галья стояли в русской парижской церкви; он, схожий с вельможей прошлого века, — в смокинге, в муаровых лентах и звездах всех держав (советские ордена и медали отняли на границе) она — стройная боярышня в бриллиантовом уборе и в приталенной собольей шубке. По православному обычаю они встали на колени.

Как он любит ее!

В апартаментах вашингтонского отеля «Уотергейт» они показывали фотографии своего нового имения «Галино», звали погостить. Слава так назвал это место в честь Г. Вишневской и добился того, чтобы это наименование вошло

в карты США.

«Купил я этот замок тайно от Гали. Наступает ее день рождения. Говорю — надоело все, махнем куда глаза глядят. Едем — уже темно кругом, какая-то дорога, есть хочется. Галя злая. Вдруг свертка и огоньки вдали. Свернем? Может, харчевня там? Подъезжаем. На ворота пылают иллиминированные буквы «Галино». Веду к замку: «Принимаю подарок, Галина»...

Галя шепнула мне: «Я, конечно, обо всем знала. Он так шустрил с какими-то бумагами, так темнил. Но я и виду не показала...» Галина понимает поэзию в жизни.

В отличие от многих музыкальных собратьев их августейшая пара глубоко образованна. Они просят читать новые стихи, думаю, не только из вежливости. Как-то я прочитал им «Не трожьте музыку руками». Хозяева вежливо выслушали, но мягко сказали: «Ну, это известное, а что-то новое?» Тогда я им прочитал: «Мы были — трубы...» Это было и про них, они были почти первыми слушателями.

Когда Слава, слегка опоздав, вошел в нью-йоркский шекспировский театр Джо Папа на мой вечер, я в честь его объявил «виолончельные стихи». Зал его приветствовал.

В нем нет сальеризма. Будучи, без сомнения, гением, он не плачется о своих трагедиях, он смачно угощает вас анекдотом, рассказывает байки про своих собачек, обкакавшихся, когда он их тайно вез в первом классе «Боинга», приняв их грех на себя.

Полжизни он проводит в авиасалонах, порой читая партитуры в небе. Он — каторжный труженик. Философ, великолепный менеджер, он мог бы быть президентом гигантского концерна, мог бы быть президентом какой-нибудь страны, но он посвятил себя русской, а значит, и мировой культуре, именно он берет не

доступную никому в этом мире духовную смычковую ноту.

Все слышат его астральный смычок.

Я же попытался просто документально отснять несколько видеоклипов, набросков его живых встреч. Именно этого

Славы во плоти, шумного, заразительно

хохочущего, с озадаченными очечками, так не хватает сегодня среди нас. Надеюсь, что скоро Москва его увидит.

Как не хватает сегодняшней стандартной жизни волшебного деревянного сердца его виолончели!

Чуткое деревянное ухо уникального живого древесного зала Московской консерватории заждалось его.

Вы слышите смычковый звук полета?

Я=R

Раушенберг на Москве-реке?
Рашен брег?
Скорее уж — рашен брейк!

Художник, одетый в алую кожаную куртку, приехал в нашу Третьяковку, на Крымский мост, с гигантской выставкой. Он привез в контейнерах не только свои шедевры, но и сами стены с собой притаранил, чтобы эти шедевры развесить, и 90 галлонов белил, и осветительную арматуру, все — до гвоздей, приволок и рабочих с собой, не доверяя местным умельцам. Раушенберг пишет не на холстах, он пишет на шинах и грузовиках, пишет ящиками и рентгенопленками. Он кочует со своей передвижной выставкой по миру: Токио — Москва — Западный Берлин и далее везде
А мы-то горевали, что забываются классические традиции передвижников.

Пора уже.

Джон Кейдж, классик музыкального авангарда и старший друг нашего художника, писал о его «белой живописи» 1951 года: «Белые живописи его были подобны аэропортам для светов, теней и частиц». Антиэхо черных квадратов Малевича, они напоминали, вероятно, композитору его знаменитое произведение для фортепьяно «Молчание», когда пианист сидит за роялем без движения, не производя ни звука, в течение 4 мин. 12 сек. Потом зрители высказываются, выражая свои ощущения от этой беззвучной игры, свою интерпретацию молчания. Блистательным, страстным исполнителем этого произведения Кейджа был наш виртуоз Алексей Любимов.

«Тишина — ты лучшее
из того, что слышал...» —

как писал русский лирик, а в конце жизни подытожил: «И надо оставлять пробы в судьбе, а не посреди бумаг...»

В своей литографии 1968 года, названной «Автобиография», где текст расположен по дактилоскопическим линиям,

Роберт Раушенберг пишет, сокращая гласные: «Бл живописи (по-английски «wht paintings») являлись открытой композицией, которая откликнулась на действие, не касаясь его».

Нарушен врмн бег?
бег в наушниках?

Что за музыку слышим мы, пробегая пространствами зала? Символично, что эта первая у нас выставка Раушенберга расположилась в новой Третьяковке через стену, плечом к плечу с первой в Москве ретроспективной Казимира Малевича. Малевича Раушенберг боготворит. Кандинского, понятно, недолюбливает. Подобно Малевичу, он предпочитает в композициях квадрат, параллелепипед, куб, доминируют вертикали и горизонтالي. Он не уважает каналью-диагональ.

Мы счастливы сегодня в своем несчастье. Годы запретов подарили нам уникальность спрессованного века. Наш зритель одновременно открывает для себя и первую выставку Сальвадора Дали, и первую выставку Шагала, и первую выставку Френсиса Бэкона, и Юккерта, и первую выставку Филонова, и первую выставку Кандинского, и явления иного плана — первую выставку полного Нестерова, и первую — Корина, и первую — Л. Пастернака, и Гогена с постгогенцами, и первую выставку Малевича, и первую — Раушенберга. Весь не открытый многими XX век спрессовался в два каких-то года. Ведь и Бог создавал мир не эволюционным путем, а сразу, за семь дней. И нам привалило такое же везение. Каков культурный шок для непосвященных! Поп-арт — современник супрематистов.

Лажа на шарнирах? Параша, брех? Порошок «Шик-блеск»? Скакалка, раскрашенный игрушечный Конь Блед?

После смерти Сальвадора Дали Раушенберг, — пожалуй, крупнейшая фигура мирового визуального искусства. (Хоть он не испытывает пиетета к испанскому сюрреалисту.)

Родился он 22 октября 1925 года. Был назван Мильтоном, но в Канзасском ху-

дожественном институте переименовал себя в Роберта. В нем смешана кровь немцев, шведов и индейцев племени чероки. Великий шестидесятник, вечный дитя-проказник, R. R. вместе с артистичным Джаспером Джонсом и соломенно-лосым снобом, панически-застенчивым

Энди Уорхолом явился создателем поп-арта, первого чисто американского мощного прорыва в мировое искусство. (И Поллак, и весь абстракционистский взрыв, являясь американскими, все же имели европейские корни.) Иронический бунтарь, Разин + Брехт?

Одетый в алые и изумрудные куртки, RR сам является живым и всегда неожиданным экспонатом выставки. 10 тысяч москвичей посетили его в первый день.

Может, дело в том, что RR — американец? Не думаю. Причина в интересе к новому искусству, долгие годы запретному. В тех же залах сразу за выставкой RR открылся гигантский вернисаж Михаила Шемякина.

Год назад М. Шемякин открывал мой вечер в Брайтоне. Думалось ли тогда, что через год я буду открывать его выставку на Крымском мосту? Он стоял на открытии рядом, притихший и побледневший, так что резче прочертился шрам на щеке. Как всегда затянутый в черную кожу. Я в выступлении назвал его тогда черным принцем российского андеграунда. Он много делает для русской культуры, первым, задолго до его непроснувшейся родины, издал двухтомник В. Высоцкого. В Нью-Йорке он подарил мне иллюстрации к моим стихам, сделанные еще в 60-е годы. Среди них «Петух с оторванной головой». Многие считали уехавших петухами с оторванной головой. Петухам рубили головы — но они летают через границы ныне и приветствуют рассвета живее всех живых. Искусство неубиваемо. Рисунок художника оказался пророческим. В. Войнович, Ю. Любимов, Э. Неизвестный, Л. Копелев, А. Синявский, М. Барышников, М. Ростропович — живы, дай Бог каждому. И петушиной расцветкой бьют по глазам шемякинские полотна, соединяя петровский лубок с нашим веком...

Особенно много на выставку RR приходит молодых художников. Кто восторгается, кто недоумевает. Москвичи разглядывают тотемы бунтарских 60-х годов — похотливого и священного ангорского козла («Козлы-ы-ы!..» — слышится в наушниках голос другого Боба — Гребенщикова), продетого в тугую автомобильную шину, ставшего чувственной иронической эмблемой. Муляж орла. Над композицией «Одалиска», над кубом, оклеенным тигриными «ню», репродукциями обнаженных красавиц Гойи, Мане, Энгра, Матиса (как клеят телок на щитки автомашин) с гаремным апломбом стоит натуральный петух — топчет дамочек отважный кукарек! Все это чувственным столбом вмято в восточную подушку. Плотское и машинное связала воля Раушенберга. Рашиль и белка?

Шаровая «молния», вшитая в ширинку?

Наш народ толпится перед композицией «Звукоизмерения». В полутьме пространства парят пустые отброшенные стулья, некоторые перевернуты. Стулья снабжены электроникой, которая вибрирует звуком, когда посетитель подходит. Поют тоскливо пустые стулья — может быть, это симфония наших освобожденных номенклатурщиков? Несколько миллионов пустых стульчиков добавить бы в эту композицию!

Ура разоружению шеренг!

Свидетели самых гигантских в мире гидроэлектростанций и транзисторов глядят на самые большие в мире автолитографии — в полстены! — вдохновленные поездкой художника по нашей стране. Все его вещи ищут подобия в мире, все метафоричны. Восхищенно копирует он цвета ташкентских халатов. В литографиях он — бог, такой авторской печати не знала еще мировая практика. Свои самые первые литографии Боб создал в мастерской Татьяны Гроссман,

в Лонг-Айленде. Есть такая одноэтажная студия — белый домик на берегу океана. Там русская хозяйка увлекла его, а потом и Джаспера Джонса нежным итальянским печатным камнем. Ей посвящен каталог московской выставки. С портрета глядит на давно не виданную ею Рос-

сию прозрачная, как водяной знак, женщина с тонкими губами. Печать портрета выпуклая. Портрет создан к пятидесятилетию ее студии и издательства, основанного в 1974 году. В нем опять видна близость художника к Леонардо.

Т. Гроссман родилась в России, эмигрировала в 20-х годах. Когда Гитлер занял Европу, она из Франции, через Испанию, переехала в Штаты. Муж ее что-то изобрел, разбогател, и все свое состояние Таня, как все звали ее, вложила в эксклюзивное издательство. Она принадлежала к породе Русских муз, повлиявших на мировое искусство. С тишим фанатизмом она произвела маленькую революцию: ее уникальные отпечатки, книги, изданные ею, расхватывались галереями и музеями мира, ими упивались снобы — автолитография вошла в моду.

Невесомая, как тень, Таня подошла ко мне после того, как я читал стихи в салоне Тятяны Яковлевой, ныне Либерман по мужу, известному художнику и скульптору, уставившему Чикаго и другие города гигантскими композициями из алых труб. Имение Либерманов расположено рядом с усадьбами Колдера, Артура Миллера, Стайронов. Потом в соавторстве с Алексом Либерманом мы сотворили в Танином издательстве метровую по формату книгу-стихотворение «Ностальгия по настоящему» в металлической обложке. Книгу-великаншу раскупили музеи и коллекционеры.

Так вот, Таня с ее деликатной магией уговорила меня самому заняться литографией. В тот год я в течение месяца находился в Смиссониевском институте в Вашингтоне. Работал над темой «Эзра Паунд», Т. С. Элиот в сравнении с Пастернаком и Мандельштамом». По условиям приглашения всю рабочую неделю надо было проводить в кабинете института и би-

блиотеке. Но на свободные уик-энды я летал в Лонг-Айленд, где увлекался литографией.

На том же станке, рисуя на той же неподъемной известняковой плите, что и Раушенберг, я проделал его каторжный путь. Как трудно наносить рисунок, где

левое становится правым, где все наоборот и надо проверять себя в зеркало.

Как нежно проступают оттиски на рисовой бумаге! Печатаю свой плакат о бедствии в Гайане, я оттиснул на камне клочок «Нью-Йорк таймс» с моими стихами об этой трагедии. Техника печати была столь высока, что отпечатались прозрачность газетной страницы с проступающим шрифтом обратной полосы.

Тогда же я написал элегию «Автолитография», которую напечатал в «Юности», и, таким образом, имя Раушенберга было впервые названо в нашей прессе в неругательном контексте. Художественный процесс интуитивен. Именно в канун Московской выставки RR, когда его мастера крыли белилами привезенные стены, в «Новом мире» появилась статья Л. Тимофеева под названием «Феномен Вознесенского», где автор, не все принимая, понял «Автолитографию», целиком цитируя ее. Думаю, совпадение не случайно.

На обратной стороне Земли,
как предполагают, в год Змеи,
в частной типографии в Лонг-Айленде
у хозяйки домика и рифа
я печатал автолитографии
за станком, с семи и до семи.
После нанесения изошрифта
два немногословные Сизифа —
вечности джинсовые связисты —
уносили трехпудовый камень.
Амен.

Спал я на раскладушке в мастерской, где, наверное, почивал в свое время и сам РР. Обогнув планету, из нашего полушария в окошки выплывала луна. Вечерами в гостино зажига́ли настольные лампы, переделанные из керосиновых. Гостей потчевали наливками по царским еще рецептам. Бабушкин шербет?

Прилетал я каждую субботу.
В итальянском литографском камне
я врезал шрифтом наоборотным
«Аз» и «Твердь», как принято веками,
верность контролируя в зеркало.
«Тьма-тьма-тьма» — врезал я по овалу,
«тьматьматьма» — пока не проступала
«тьматьматьма» — жизнь обретала речь.
После оттиска оригинала
(чтобы уникальность уберечь)
два Сизифа, следуя тарифу,
разбивали литографский камень.
Амен.

Думал ли я тогда, измотанный работой и счастьем создания, что через год, когда мой философский круг «тьма» будет опубликован в альманахе «Метрополь», наши полуграмотные инквизиторы из Союза писателей, гогоча, будут допытываться до тайной политической крамолы в этих словопревращениях? Один мыслитель допер до многоэтажной матерщины, другой додумался, будто смысл в том, что «Родина-мать» есть... тьма».

Этим заклятием «тьматьматьмать» — рождением жизни — начался спектакль в Театре на Таганке «Берегите ваши лица», который был запрещен после трех представлений. Увы, тьма тогда победила. Но вернемся в мастерскую 1977 года.

Что же отпечталось в хозяйке?
Тень укора, бегство из Испании,
тайная улыбка испытаний
водяная, как узор Гознака?..
Что же отпечталось во мне?
Честолоубье стать вторым Гонзаго?
Что же отпечталось извне?

(Я попросил типографию перевернуть набор, чтобы читатель почувствовал себя в моем перевернутом мире тех дней.)
Однажды, когда я трудился у станка, некто с острыми ироническими скулами встал у притолоки и, потягивая виски из цилиндрического сосуда, долго стоял, прислонившись к плечу Джин Стайн, стройной летописицы авангарда. Они следили, как русский вкалывает. Я нервничал. Потом вдруг я понял, что это и есть великий RR.

Ни одно- и ни многоэтажным
я туристом не был. Я работал.
Боб Раушенберг, отец поп-арта,
на плечах с живой лисой
захаживал,
утопая в алом зоопарке.
Я работал. Солнце заходило.
Я мешал оранжевой в белила.
Автолитографии теплели.

В соавторстве с ним и родилось 6 работ. Они составляют стенку на московской выставке. Вот, например, как **RR** решает четверостишие «Арбатская американочка»:

Разве мыслимо было подумать,
что в Нью-Йорке, как некогда встарь,
разметавшись, уснем на подушке,
словно русско-английский словарь.

Он смонтировал диванную расцветку с питонными разводами змея-соблазнителя, может быть, опять предвидя змеиный год. И рядом — белый лебединый эмигрирующий полет.

«Зачинайся, русский бред», — обронил классический поэт.

Рашен бред?

Прилетел он в Россию, везя в чемодане русскую ушанку, которую одолжила ему Джин Стайн, но, увы, дороги наши развезло, в феврале шпарило солнце — художнику так и не удалось пофорсить в русских мехах.

Индийское чувство дружбы и верности неистребимо в нем. Когда в так называемые застойные годы мне было худо, когда меня сильно прижали, вдруг сквозь мировые хрипы и помехи голос Роберта Раушенберга наивно прокричал мне по радио «Голоса Америки»: «Андрей, как ты, что с тобой? Нам не хватает тебя, мы о тебе думаем!» Это не помогло, но поддержало.

И вот кто бы мог подумать, что через немного лет у нас откроется гигантская ретроспектива **RR**, бунтаря, «хулигана, шарлатана, облапошивающего наивные массы миллионеров путем скандалов, шута капитализма», как характеризовали его у нас раньше, и «выдающегося мастера мирового искусства», как характеризуют ныне. Тысячи москвичей, размышляя над его работами, становятся как бы соавторами художника. Раньше я один из нашей страны был его соавтором, теперь — ты-сячи.

Этой весной у нас в Москве Фонд Рау-

шенберга открывает мастерскую-типографию, где наши молодые художники будут осваивать высокую печать на подаренных им станках. То-то радовалась бы Таня Гроссман!..

А что стало с самой Таней? Она растаяла в мироздании тихо, светло, как и жила, и физический облик ее остался лишь в выпуклом отпечатке **RR** — ее белая бумажная посмертная маска. Осталась незавершенной ее идея моей последней книги — лишь наполовину выполненная. Обложка ее должна быть стеклянной, полрой внутри. «А» и «V», смыкаясь вершинами, составляли внутри прозрачной обложки треугольные песочные часы. В них был насыпан тончайший золотой песок с берега Лонг-Айленда. Когда обложку открывали, песок пересыпался, вместе с золотыми и кварцевыми песчинками пересыпались микроскопические красные и черные ракушки. Вечность, шелестя, пересыпается. В хрустальном гробу. Билл Голстин, наследник и продолжатель дела Тани, обещал довести работу до конца.

Что же отпечатает прибор?
Ритм веков и порванный «Плейбой»?
Что заговорит в Раушенберге?
«Вещь да шипы и ракушек пеня?»
Не понять Америки с визитом
праздным рифмоплетам назиданья,
лишь поймет сообщник созиданья,
с кем преломят бутерброд с вязигой
вечности усталые Сизифы,
когда в руки вьелся общий камень.
Амен.

Мы пытаемся понять душу Америки, но как понять ее без Раушенберга?

Еще Шпенглер противопоставлял Культуру цивилизации. Николай Бердяев писал в книге «Смысл истории»: «В быстрое, все ускоряющееся темпе цивилизации нет настоящего и будущего, нет выхода к вечности... Культура же пыталась созерцать вечность. Это ускорение, эта исключительная устремленность к будущему созданы машиной и техникой. Жизнь организма более медлительна, темп не столь стремительный... Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни».

RR пытается создать Культуру продуктами цивилизации. Повторяю, он пишет асфальтом, бейсбольными мячами, газетами. Я бы создал сейчас кастриюлю из газетных полос — так информация проникла у нас в быт, в кухни и столовые. **RR** идет не только от Марселя Дюшана, но и от Леонардо.

Как бы символом естественного организма, биологического развития он выбрал черепаху. В его доме вместо экономки живет живая черепаха. Она помогает художнику по хозяйству. Серебряная брошка черепашки поблескивает в петличках поклонников художника — она стала эмблемой нашей выставки. На плакатах его мировой программы «Р. О. К. И.» черепаха тащит полземного шара вместо панциря.

«Как предполагают, в год Змеи...» — предполагал ли я, написав так в 1977 году, что нынешний год Змеи, 1989-й, принесет нам ретроспективу Роберта Раушенберга в Третьяковке?

Голова Змеи нашего года удивительно напоминает голову его смышленной черепахи.

Черепашка — герб?

Безумный рацио-век.



БЛАГОВЕЩИЗМ ПОЭТА

Пастернак — присутствие Бога в нашей жизни. Присутствие, данное не постулатно, а предметно, через чувственное ощущение Жизни — лучшего, необъяснимого

творенья мироздания.

Дождь дан как присутствие Бога в нем, еловый бор как присутствие Бога, Бог дан в деталях, в стрижах, в каплях, в запонках, и наше чувство — это прежде всего в чистом виде Божье присутствие.

Каждая вещь для поэта — Благовещение. Я бы сказал о благовещиизме Пастернака. Выставка эта полна вещей — вестей от Бога.

Проходя по залам столетия Пастернака в музее им. Пушкина, я думаю: какой он благодатный поэт для выставки! Вещи века — ЗИЛы, ЗИСы и Татры, галоши, ледяной цикламен, лампы «Светлана», матерчатый лист смородины — все для экспозиции.

Есть раковины — гудящие и мертвые.

Вещи поэта — это гудящие раковины, их всегда наполняет Нечто большее, чем скорлупа.

Вот он пишет тень — «Она сияла, как и подстаканник». Поэт и в темном видит свет. Он сам ходил, одетый в однобортную куртку с матовым мельхиоровым отливом. От него исходило сияние.

Если в «Сестре моей жизни» это ощущение лишь проборматывалось, то в конце пути оно сказала о себе ясно, как знамение.

Ты значил все в моей судьбе.

Потом пришла война, разлука.

И долго-долго о тебе

Ни слуху не было, ни духу.

И через много, много лет

Твой образ вновь меня тревожил.

Всю жизнь читал я твой завет

И как от обморока ожил.

Я всегда воспринимал встречи с ним, как

встречи с отсветом Бога, присутствующим в нем. Жил он окнами на храм. В нем присутствие это было в максимальном для человека подобии. Других подобных я не встречал. Это чувствовали и элита, и переделкинские разнорабочие.

Ныне, вглядываясь в итог столетия, мы по наивной шкале мер и весов ищем альтернативу Сталину — Троцкий? Бухарин? Рыков? Увы, это все шахматные фигуры той же доски. Духовной альтернативой тирании стал Пастернак. XX век выбрал его для решения известного русского противостояния — Поэт и Царь, Власть и Дух, воплотившийся в одиночке. Тиран с его мистическим суеверием это понимал, не трогал поэта. О жизни и смерти, т. е. о Боге, пытался говорить по телефону поэт с тираном. Отсюда мессианство Пастернака, которое он ощущал.

Даже инициалы его «Б. П.» говорили о его беспартийности. В то время было немало великих поэтов — Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Есенин, Маяковский, Заболоцкий, — но время и то, что мы понимаем под Богом, выбрали именно Пастернака. И когда престол занял Н. С. Хрущев, духовной альтернативой опять стал Пастернак. Глава Державы, хоть и не был силен в делах культуры, инстинктом политика и антиинтеллигентской сметкой понимал враждебность этого духовного полюса власти. Сидя в ложе, он направлял как псаря, Семичастного, отрепетированно облаявшего на стадионе автора «Доктора Живаго». Антидуховность в нем чуяла опасность.

Никто точнее не сказал, чем поэт в посвящении Б. Пильняку:

Напрасно в дни великого совета,
где высшей страсти отданы места,
оставлена вакансия поэта.
Она опасна, если не пуста.

Именно духовному XX веку посвящена выставка «Декабрьских вечеров» Пушкинского музея. С Пастернаком они двойники. Век. — «Сильнее моего нитя И хочет быть как я».

Почему в Пушкинском музее изобразительных искусств?

Не подражавший никому поэт лишь Пушкину написал «Подражательную» и увидел в губах сфинкса не только пушкинские губы, но и свои. Муза его по-пушкински полифонична. Музыкальная программа

«Декабрьских вечеров» организована гением Святослава Рихтера, это как бы многоголосое эхо его скорбной переделки игры на похоронах поэта. В музыке поэт питался XIX веком — Шопен, Шуман, Брамс да и Скрябин — это все вышло из культуры итоговой. Зато в визуальности он вобрал и предвосхитил всю живопись именно века XX. Его строфы были выставкой шедевров, запрещенных в то время к показу нам.

Когда искусствовед спрашивает нас, что приходит на ум при взгляде на растекающийся циферблат Сальвадора Дали с муравьями, память мгновенно приводит:

Текли часы. Текли жуки с отливом.
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес кишеньем торопливым,
Как под щипцами у часовщика.

А вот наш русский абстракционизм:

Лучше вечно спать, спать, спать
и не видеть снов...
Душа душна. И даль табачного
Какого-то как мысли цвета.

«Молодость в сотах», «расцветшая сирень» — возвращают нас к ульям П. Филонова.

Не говорю уже о его пейзажах последних лет, с нестеровской слезой, с коринскими северными фресками, и о великих его полотнах христианского итога под стать старым мастерам Возрождения.

Как на выставке картин —
Всюду залы, залы, залы...

Путь по этим анфиладам культуры — от пантеистического бога — к Богу духов-

ному, как шел и исторический земной
путь человечества.

Поэт начал с «чашки какао», испаряю-
щейся в трюмо. «Мы были музыкою ча-
шек, ушедших кушать чай во тьму»,
а кончил Гефсиманской чашей.

Если только можешь, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Символично, что эту его чашу «Гамлета» до последней черты не пропускали в печать. Таким образом, она стала как бы заключительными словами, слетевшими с посмертных губ поэта.

Воздействие Пастернака на современников огромно. Он определил многое не только в поэзии, но и в прозе века. Даже В. Набоков, ревновавший его к Нобелевской премии, обвинявший в бенедиктовщине и т. д., как поэт до конца дней не освободился от пастернаковского влияния. А проза?

Вспомним великую набоковскую книгу «Лужин». Вы помните, как герой, шахматный русский гений, выходит на лунную террасу немецкого городка? Ему мерещится его соперник Турати. Ночь полна белых и черных фигур. Деревья — фигуры. Лунный свет делает террасу схожей с шахматной доской. Ему на колени садится возлюбленная. Он ссаживает ее. Она свидетель его муки. Ночь — черно-белая шахматная партия.

Где мы читали это? Русский глядит на марбургскую ночь.

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу...
И страсть, как свидетель, сидит в углу...
И тополь — король. Я играю с бессонницей...
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью,
И ночь побеждает — фигуры сторонятся...

«Марбург» — завязь набоковского романа.

Выставка наша — особого рода. Эта выставка — пространственный роман. Бродить по ней, словно ходить по анфиладам «Доктора Живаго», выходя к духовному финалу, к алтарю.

«Доктор Живаго» — роман особого типа, роман поэтический. Он тоже — о присутствии Бога в нас. И покидании Бога нами.

Огромное тело прозы, как разросшийся сиреневый куст, несет на себе махровые гроздья стихотворений, венчающих его.

И как целью куста являются кисти, а смыслом яблони — яблоки, так целью романа являются стихи, которые из него в финале произрастают. Мы видим, как в процессе жизни, в душевной смуте автора, героя романа, сначала брезжит пламя свечи, увиденное сквозь морозное окно, в этом озарении является «Блок — это явление Рождества в русской жизни», затем ночная чувственная свеча становится символом его любви к Ларе, метель, символ истории, задувает этот одинокий огарок, гибнет личность, одухотворенность, интеллигенция гибнет — и, наконец, в финале романа расцветает чудо классического стихотворения — «Свеча горела на столе», без света которого уже нельзя себе представить нашей духовной культуры. Там же из судьбы героя рождается свет «Рождественской звезды», вздох «Гамлета»: «Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить не поле перейти».

Проза Пастернака отнюдь не статья «Как делать стихи», нет, это роман, жизнь поэта, роман о том, как живут стихом и как стихи рождаются из жизни. Таких романов еще не было.

Произведения классиков живут во времени, со своим норовом. Их смысл, как цветок, то раскрывается читателям, то в иные времена закрыт от него. Так было с тургеневскими романами, с Джойсом.

Увы, «Доктор Живаго» — это теперь не просто книга, роман сросся с позорными событиями вокруг него. Тридцать лет пропаганда наша, не прочитав его, не вдумавшись в лирическую музыку его волшебного русского языка, выдавала роман за политического монстра, за пасквиль. И вот роман напечатан. Напечатан в черед с сегодняшних горячих общественных шедевров. Думаю, что кое-кто из миллиона читателей, подписавшихся на «Но-

вый мир» из-за публикации «Живаго», находился в недоумении: какое несоответствие тридцатилетней чудовищной Лжи вокруг романа и его лирических страниц! За что травили автора? За что исключили из Союза писателей, собирались выслать из страны?

За любовные страницы Юры с Ларой? За знобящее описание соловьиных трелей, сравнимых разве что с тургеневскими? Увы, кроме преступления против личности поэта, совершалось многолетнее преступление против смысла романа. В результате всесоюзной брани роман нельзя сегодня читать объективно. Читатель ныне тщетно ищет в книге обещанную «крамолу». Барабанные перепонки, ожидающие пушечной канонады, не могут воспринять музыку Брамса.

Увы, вина этой дезинформации лежит на тогдашних руководящих литературных интриганах, возглавляемых А. Сурковым. Спровоцированный ими Н. С. Хрущев организовал травлю поэта с тем же размахом и темпераментом, как Карибская эпопея или освоение космоса и кукурузы.

Семичастный упоенно орал правительственную метафору: «Если сравнивать Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал... Он нагадил там, где он ел...» Ныне без тени стыда и раскаяния отставной оратор раскрыл уровень свиначника, в котором родилась эта «свинья»: «Я помню, нас пригласили к Хрущеву в Кремль накануне Пленума. Меня, Аджубея. Там был и Сулов. И он сказал: «В докладе надо Пастернака проработать. Давай сейчас мы наговорим, а вы потом отредактируете. Сулов посмотрит — и давай завтра...» Надиктовал он две странички. Конечно, с его резкой позицией о том, что «даже свинья не позволяет себе гадить...» Там такая фраза еще была:

«Я думаю, что Советское правительство не будет возражать против, э-э, того, чтобы Пастернак, если ему так хочется дышать свободным воздухом, покинул пределы нашей Родины». «Ты произнесешь, а мы поаплодируем. Все поймут». Так, согласно высочайшему указанию, протранслировав по телевизору на всю

страну, и срежиссировали. Сразу после слов оратора о свинье, которая не гадит, дали крупный план грозно аплодирующих Хрущева с соратниками. Поэт и это предвидел.

И каждый день приводит тупо,
Так что и правду невтерпеж,
Фотографические группы
Сплошных свиноподобных рож.

А вот несколько цитат с позорного шабаша собрания писателей 27 октября 1958 года, исключившего поэта и требовавшего от правительства высылки его из страны. Ораторы пытались не отстать от Главы Державы. Стенограмма эта, опубликованная ныне, стала политическим документом самого аполитичнейшего из поэтов. «Пастернак по существу — это литературный Власов. Генерала Власова советский суд расстрелял! (Крики с места: повесил!) Вон из нашей страны, господин Пастернак. Мы не хотим дышать с вами одним воздухом!»

Маститый критик вопил: «Пусть отправляется туда. Мне и нашим товарищам даже трудно представить, что такие люди живут в нашем писательском поселке. Я не могу представить, чтобы у меня осталось соседство с Пастернаком. Нельзя, чтобы он попал в перепись населения СССР».

Это о Пастернаке-то, лучшем поэте времени, дышать воздухом поэзии которого было редчайшим счастьем, как и дышать хрустальным воздухом Байкала и Арала, чудо которых так же тупо уничтожали!

И вполне логично, что тот же критик, ведя артподготовку к этому собранию, писал 9 сентября 1958 года в «Литературной газете»: «религиозные эпигонские стихи Пастернака, от которых несет нафталином из символического сундука образца 1908—1910 гг.».

А вот письмо прославленной писательницы 68-летнему поэту: «...Пулю бы загнать в затылок предателя. Я женщина, много видевшая горя, незлая, но за такое предательство рука бы не дрогнула». Каково было поэту читать такое! Но поучимся великодушию у патриарха поэзии.

Он ответил этой «доброй» женщине, Жданову в юбке: «1-го ноября 1958 г. Благодарю Вас за искренность... Меня переделали годы сталинских ужасов, о которых я догадывался еще до их разоблачения... Вы моложе меня и доживете до времени, когда на все происшедшее посмотрят по-другому... Я Вам пишу, чтобы Вам не показалось, что я уклонился от ответа. Б. Пастернак».

Жаль, что писательница не дожила до наших дней. Но куда более жаль, что не дожил он.

А 1 ноября «Литературная газета» писала: «Не случаен... бухаринский панегирик в его адрес!» «Доктор Живаго» — не духовный ли сын Клима Самгина? Горький разоблачил Самгина. Пастернак в «Живаго» разоблачил сам себя». Герой — автор. Следовательно, поэта надо высылать!

И сегодня, в канун столетия поэта, политические противники обновления страны в бешенстве от романа, автора они называют «новоявленным гением», как выразился один малограмотный мыслитель, наветы на роман они перепечатают из старой травли в сегодняшних центральных газетах, даже полосой в «Правде» — и о Климе Самгине, и о том, что стихи из романа повторяют «расхожую поэзию того времени». Примером один из критиков приводит «Белую ночь», одну из жемчужин российской лирики.

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первую дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю,
Так на спящие дали похоже.
Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне,
Как раскинувшийся панорамой
Петербург за Невою бескрайней.

Дай Бог, чтобы хоть одно еще такое стихотворение осчастливило российскую словесность! Судя по всему, критик лишен счастья понять эту музыку, музыку поэзии, музыку совести, кото-

рая составляет содержание романа. Ответ мой на эту статью в «Правде» напечатали рядом с альтернативным мнением — налицо плюсы плюрализма. Кстати, тогда впервые у нас были опубликованы крупнотиражно фразы стенограммы судилища над поэтом.

Я привожу сейчас в пример этого критика не из-за значительности его, а просто как один из примеров того, что и ныне не так уж все благостно с Пастернаком. А брань «Мол. гвардии»? «Искали улики фарисеи, юля перед ним, как лиса» — поистине пророческие стихи.

В стихах его строка сжимается, как сердечная мышца. Как щемяще наглядно усечена строка в строфах «Зимней ночи»! Пастернак любил работать такую укороченной строкой:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.

Большинство стихотворцев пошло бы катить по ямбической проторенной лыжне, ну, скажем:

Во всем мне хочется дойти
до самой сокровенной сути...

Но мастер укорачивает, сжимает четную строку, визуальнo укaзывая на «сжатость» сути...

В стихотворении «Зимняя ночь» цель иная:

свеча горела на столе,
свеча горела.

Здесь физически достигнуто ощущение того, как длинная свеча — строка сгорает, сокращается до огарка. Ставится новая свеча, и она сгорает. Свеча, страсть, жизнь.

Не случайно А. Галич выбрал для песни, посвященной судилищу над Пастернаком, именно этот размер, гневно, набатно сжимающийся и разжимающийся:

мы поименно вспомним всех,
кто поднял руку...

Но вернемся к сегодняшним судьям романа.

«За ум да еще талант действительно многое прощается», снисходительно пишет газетный критик и задумывается об авторе стихов романа: «Умен он или неумен? Талантлив или неталантлив?» Но

мерилом таланта являются не административные посты автора, не номенклатурное место в редакционном кресле — увы, мерилом таланта являются только стихи. А стихи в романе — великие стихи классической русской традиции — «Сказка», «Лето в городе», «Разрыв», «Магдалина».

Критик бранит поэта, автора стихов: «заурядность», «благополучный пупс до седых волос», «второстепенный поэт или посредственный переводчик». Эти стрелы, увы, направлены отнюдь не в адрес героя романа. Роман написан методом метафорической автобиографии. Все его герои и события имеют прототипов в пастернаковской жизни. В Николае Николаевиче мы видим Белого и Скрябина, Стрельников — духовная метафора Маяковского. Автор статьи доктор филологических наук Урнов знает, что Борис Пастернак писал: «Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной. Блоком, Есениным и Маяковским. И когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку «Юрию Живаго». Значит, брань о «заурядности» сознательно направлена против Б. Пастернака, глубочайшего поэта нашего века! Да и гражданина.

В 1937 году, когда собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор Якиру, Тухачевскому и другим, Пастернак был единственным писателем, который отказался подписать это позорное письмо. В романе мы читаем фразу, обеспеченную риском своей жизни: «От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия».

Травлю поэта критик называет застенчиво «несчастьем». Почему хоть сегодня не назвать все своими именами?

«Стихи не лучше, не глубже его рассуждений в самом романе», — развязно пишет критик. Что стихи великие, известно

ныне даже школьникам. Возьмем наугад «рассуждения» из романа. «Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Стало расти владычество фразы». Это написано за 40 лет до наших дней и не лишено глубины.

«Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с Победой, как думали, но все равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». Думается, не лишены глубины и эти как обращенные к нынешним дням строки.

Глубоки и его рассуждения о христианстве, без которого не понять тысячелетнюю отечественную историю, за этим стоят глубины духовной культуры — Дионисий, Покров-на-Нерли, Толстой, Достоевский, Флоренский, Вернадский.

Евангельская тема решается поэтом удивительно по-русски — «с морозом, волками и темным еловым лесом».

Поэт понимает Христа как новое, как поворот в истории, когда «человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти». «Если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозой, все равно каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека поднимала не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины...»

Христианство для поэта — человечность, духовность. В наше время, когда идет публицистическое разоблачение Сталина, порой примитивное, а то и конъюнктурное, важно философское осмысление его палачества Пастернаком. Как-то в беседе поэт отнес Сталина к деспотам «дохристианской эры человечества», типа Ирода, «оспою изрытых Калигул».

Не случайна тема христианства — и в прозе, и в стихах.

Роман трудночитаем, это — антибестсел-

лер, но в мировой литературе мало страниц, равных по силе кинематографичности хотя бы в описании смерти героя, который задыхается в плетущемся трамвае. Его то нагоняет, то отстает от него фигура женщины — жизнь, смерть, судьба?..

Сегодняшние враги романа пытаются подпереть свое непонимание романа, ссылаясь на второстепенных своих западных коллег. Для меня авторитетнее оценка Альбера Камю.

По решению ЮНЕСКО в 1990 году проводится столетний юбилей Б. Пастернака. Не могу сказать, что восстановление справедливости к поэту в нашей стране проходило и проходит без труда. Одна борьба за музей чего стоит, в резиновую стену упираешься. Н. А. Пастернак, ныне заведующая переделкинским мемориалом поэта, сохранившая предметы его быта, нашла в его столе папку, надписанную рукою Бориса Леонидовича: «Андрюшины стихи». Моя судьба интересна здесь лишь как пример его бережности к другим. Оказывается, он складывал в пачку мои мальчишеские письма разных лет, даже конверт, и наивные стихи, на полях которых отчеркивал что ему понравилось. Что не понравилось — перечеркнул легким карандашом. Только сейчас я узнал, как он внимателен был.

Благодаря инициативе комиссии по наследию Б. Л. Пастернака было отменено позорное решение об исключении великого поэта из Союза писателей. Восстанавливать его в членах Союза было бы кощунственно. Однако легкомысленные журналисты продолжают твердить и требовать восстановления поэта...

в членах СП. Что же, поэту в гроб членский билет положить? Поздравить со вступлением? Достаточно поиздевались над поэтом при жизни. Пастернаковская комиссия была первой в своем акте — Пастернак всегда ратовал за других. По примеру пастернаковской комиссии впоследствии были отменены позорные исключения из Союза О. Мандельштама, П. Васильева, И. Бабеля, В. Некрасова, В. Мейерхольда, М. Ростроповича, Е. Эт-

кинда и других. Конечно, при желании живых они могут быть восстановлены в Союзах, как, например, был восстановлен глубочайший исследователь литературы Е. Эткинд. Теперь Союз писателей имеет в Париже свое отделение в лице одного члена — впрочем, Е. Г. Эткинд стоит десятков. Второй живучий слух — о том, что Б. Пастернак вынужденно отказывавшийся от премии не является Нобелевским лауреатом. Наша комиссия направила письмо в Шведскую Академию с идеей вручить Нобелевскую медаль семье поэта. Я был в Стокгольме, говорил с Секретарем Академии проф. С. Алленом, который неформально отнесся к «делу Пастернака». Вопрос был поставлен на ближайшую сессию. И радость, правда запоздавшая и горькая — в декабре медаль была торжественно передана в Стокгольме сыну поэта Е. Б. Пастернаку.

Все это — судьба поэта, его век, двойником которого он стал, — окружает нас на выставке. Поблагодарим работников музея, создавших ее. Пройдем по залам гения поэзии, жившего и выразившего самое страшное из столетий человечества. Может быть, явление Поэта — надежда на то, что человечество не так уж безнадежно.

Посетив Ерусалим, я был потрясен, как достоверны пейзажи в Евангельском цикле из «Живаго» — и путь из Вифании, и дорога вокруг Масличной горы, и пойма Кедрона внизу — хотя поэт реально никогда там не был. Скрытая камера поэта документально «гостит в иных мирах». Науке еще предстоит понять ясновидение поэта.

Пройдем по выставке вещей, вещей Пастернака, вещей Века, попытаемся понять весть его, голос Бога за ним, разглядеть, что стоит за этим благовещизмом.

Попытаемся понять Благовещизм поэта.

МИНУТА НЕМОЛЧАНИЯ

Я попросил зал встать и провести Минуту немолчания. В память погибших книг, зарезанных рукописей, абортированных замыслов.

Зал встал. Мы вырубili свет. И тогда я, еще не представляя, как все будет, завопил в микрофон: «А-а-а!»

«А-а-а!» — отозвалась темная масса зала. Мы слишком долго молчали, чтобы продлить это еще на минуту. Стояла минута крика. «А-а-а!» Я стоял в черной кубической гигантской минуте вопящей памяти.

Зал — главным образом молодые художники, поэты, студенты — выдохнул хором не молитвенно, а мощно — как каратисты — «а-а!» Со сцены за моей спиной вопили инструменты и синтезаторы рок-группы «До-мажор» на сцене. В первом ряду кричал свое «а-а» по-английски режиссер студии «Чэнэл 4» — видно, у него тоже что-то когда-то зарезали. Но большинство зала кричало «а» на русском языке.

От крика металась на сцене зажженная пастернаковская свеча. Так начались чтения «новой волны», провести которые меня попросила группа молодых поэтов.

Это звучало как авангардное стихотворение — реквием. В темную минуту слились голоса А. Айги, Г. Сапгира, А. Аронова, К. Кедрова, А. Ткаченко, Ю. Арабова, Н. Искренко, И. Иртеньева, Е. Коцюбы, И. Путяевой, А. Осмоловского, и группы «Министры проблем СССР», и Г. Алехина с его «Вертепом». Продолжение крика следовало голосами И. Холина, А. Парщикова, О. Хлебникова, И. Кутика...

С берегов Невы, серебряно-сиплый, στεнал В. Соснора.

То, что условно называют «неоавангард», в поэзии распространилось по стране высокой эпидемией. Не только в столицах.

Вот из Барнаула пришло письмо. Я там не был. Лишь давным-давно мне присы-

лал стихи Николай Бажан, потерявший зрение. Теперь он выпустил первую книгу. Он работает в традиционной струе. Пришедшее письмо говорит о настрое и вкусах теперешних молодых.

«Фонд молодежной инициативы г. Барнаула совместно с шукшинским центром, занимающийся удовлетворением духовных потребностей молодых, провели опрос студентов учебных заведений и других групп населения по следующим вопросам: 1. Выдающийся русский поэт современности. 2. Поэт перестройки. 3. Любимые строки. 4. Вопросы избранникам. Подавляющее большинство опрошенных объединили первые два пункта и отметили Ваше творчество. Среди вопросов Вам много о Б. Л. Пастернаке. Как-то в самый разгар «застойного времени» по «Голосу Америки» прозвучало в авторском исполнении «Есть русская интеллигенция». Тогда же сообщили, что по случаю присуждения американской премии Вас поздравил Тэд Кеннеди. Какая связь между тем, что Вас приглашает президент в Белый дом, что его супруга обедает у Вас на даче, что дружите с Э. Кеннеди, и тем, что Вы так независимо себя ведете, не двуличничаете? Как Вы относитесь к утверждению Солоухина, что Ваши стихи в американских переводах ничего не имеют с оригиналом, а Ваш успех в Америке связан с хорошо организованным «имиджем»?.. Мы живем в атмосфере духовного голода. Поэтических хороших сборников в магазинах нет. Приезжайте к нам с выступлениями, очень просим. В краевом театре идет «Юнона и Авось». В «Болтанке» у вас есть такое — «Пол-Алтая и страна под нами — болтает!» и т. д. Ждем Вас. Подпись: директор административного бюро Фонда молодежной инициативы г. Барнаула...»

4 часа лету. И вот 14 марта я в Барнауле. На бережку ледяной Катунь под деревней, когда-то родившей Шукшина, муж и жена в резиновых сапогах по колено в быстрой воде полоскали горячее белье. Желтые целлофановые мешки с бельем дымились. В дыму, как айсберг Аллы Пугачевой, полыхали алые, полоскаемые трикотажные платы. На берегу их ждал синий «Москвич».

С клубной афиши глядела «Маленькая Вера».

Водовоз с лошадьё набирал воду в алюминевые бидоны. Дал жестяную кружку напиться. Вода была ледяная, но абсолютно чистая — наверное, единственное место в стране, где можно пить, не кипя-

тя? Может быть, микробы убивает высокое присутствие Гималаев.

Тот же локальный цвет и чистота света присутствовали в разговорах и стихах молодой барнаульской студии «ЭРА» — Эпицентр российского авангарда. Они ворвались на поэтическую сцену и шутейно провозгласили меня Папой российского авангарда. Я не обиделся. Даже благословил их. Еще Пётр провозглашал папу шутов.

Рослый их лидер в белом пиджаке и очках «Джеймс Бонд» прочитал блестящую строку о балконах. Другой их вождь, похожий на Бальмонта А. Брехов (может быть, он натянул на себя такую голову с бородкой и локонами для розыгрыша?), читал свое: «Верую!»

Глуховато-спокойно читает Н. Николенкова, статная суриковская боярышня с котиковой стрижкой, будто отросшей после бритья наголо:

Замкнутые системы,

Бродим по Барнаулу, не совпадая, но рядом.

Их голоса я слышал в бескрайней кубической минуте немолчания.

В барнаульской ссылке умер Вадим Шершеневич.

Чтение — это публикация ненапечатанных стихов на воздухе.

Если в шестидесятые и семидесятые мы читали, потому что не могли напечатать стихи по политическим причинам, то теперь новые поэты не могут пройти в дверь издательства сквозь толпу профессиональных стихотворцев. На втором вечере «Минуты немолчания» произошло событие, до сих пор саднящее меня.

Человек средних лет попросил из зала

прочитать свои стихи. Я, ничего не подозревая, дал ему микрофон. Стихи оказались посвященными мне. Я ушел за кулисы — не слушать же про себя! Прошло минут 10. Поэт все читал. Еще не выступали И. Кутик, Г. Сапгир и другие. Я оставил его чтение. Оказалось, сюжет поэ-

мы описывал, как автор, будучи в лагере на лесоповале, вместе с грузчиком «Чубуком» читали мои стихи, напечатанные в «Литгазете», и радовались им.

Он, ссутулясь, ушел со сцены в зал. Больше я его не видел. Так я невольно обидел бывшего лагерника.

«А-а-а», — хохотало эхо.

Молодая Россия опять читает с эстрады и на углах нового Арбата.

«А-а-а»! — слышен выдох каратистов.

Ю. Арабов — в потертом свитерке, фаворит метафоры, автор сценариев для Сокурова. Когда впервые в Москве в Манеже выступал Б. Гребенщиков, казалось, было безумством читать после него стихи, я выпустил на сцену Араובה, и тот спокойно взял молодую ревущую аудиторию.

Геннадий Айги — это попытка записать на магнитофонную кассету «Агу» Христа. Лишь в этом году он сказал мне, что Пастернак завещал ему познакомиться и подружиться со мной.

Поэзия — сообщающиеся сосуды. Мне кажется, я слышу крик Алексея Цветкова с берегов Потомака.

Он пришел ко мне со стихами в 1972 году. Тогда он был студентом МГУ. В его походке была основательность римского легионера. Тот же металл, позвякивающий иронией, был в его тяжеловатых ритмах. Ныне, за океаном, он защитил диссертацию по Платонову, выпустил две книги, которые показали его как одного из сильнейших поэтов русского Зарубежья.

Прошлой осенью он был в Москве — публика тепло принимала его в Доме меди-ка. Не думаю, что органично для его стихов отсутствие знаков препинания (при классической метрике!), но это дело вкуса.

Слышится бурлацкий стон бородатой нашей «люмпен-интеллигенции» — новой формации выпускников университетов, дипломированных дворников, независимых личностей, идущих работать в истопники, ночные сторожа, лифтеры, лишь бы не вступать в компромисс с системой.

Из темноты звучит волжский голос Юрия Кублановского, еще юный, ломающийся, когда он звонил мне из приволжского городка. Он писал тогда несвойственные ему авангардные стихи. Мать его, партийный местный функционер, найдя мой телефон, умоляла не губить ее сына. Но, увы, я не был властен над ним — им завладела поэзия. Я лишь помог ему с институтом. Окончив, он ушел бродяжничать, был звериным сторожем, стерег зверей в зоопарке. Я написал в стихах «Люмпен-интеллигенция»:

Сторож Московского зоопарка
Пишет рифмованные стихи.
Но верблюдам ближе верлибр.

Сейчас он обрел манеру, близкую к русским живописцам XIX века. Живет то в Мюнхене, то в Париже. Присылает мне с okazji свои сборники.

Голос его не затерялся среди других голосов русскоязычного Зарубежья — Василия Бетаки или Бахыта Кенжеева, у которого сквозь испытанную европейскую метрику нет-нет да проступит затяжная азиатская система отсчета. С длинноволосой русалкой Инной Богачинской нас познакомил еще в Москве безвременно ушедший Володя Шленский. Теперь она в Университете Рокфеллера и, редкая из заокеанцев, пишет в размашистой московской манере.

Звучит «а-а-а» с округлым чешским акцентом. Вацлав Гавел.

Я позвонил ему по телефону в день его освобождения. Какая радость была услышать его живой голос. Попросил передать привет друзьям в Москве, пославшим письма, заступаясь за его судьбу. «Вы думаете, мы с вами не виделись? Когда-то вы выступали в Праге в театре «Рококо». Я был в зале». «А я тоже ведь

видел вас, Вацлав. Год назад вы не приехали в Амстердам, боясь, что вас не впустят обратно. В Амстердам на конгресс «Гулливера», европейского сообщества писателей, организованного Гюнтером Грассом, вы прислали свою видеокассету, где все объяснили и рассказали о том, что творится у вас. Мы в зале смотрели вас на экране». Чешский акцент всегда больно слушать. Прага была больной совестью нашего поколения и крахом надежд. Август 1968 года застал меня в Болгарии. Написанные тогда стихи «Пой, Георгий...» были напечатаны в первых числах сентября 1968 г. в болгарской газете «Литературный фронт». До сих пор не оставляет чувство ужаса, стыда и беспомощности тех дней. Все это в черном ящике памяти.

Голоса друзей, кого нет, кто далече, — хриплый Вики Некрасова, томный Геннадия Шмакова — слышны в эту минуту.

Гена Шмаков, всеобщий баловень, автор монографий о М. Плисецкой, М. Барышникове, Н. Макаровой, издавший М. Кузмина, скуластый уроженец Свердловска, усыновленный петербургской культурой, погиб в нью-йоркском госпитале. Отменный гастроном, он каждый уик-энд готовил роскошнейшие обеды в загородном доме Татьяны Яковлевой-Либерман.

Когда-то, еще в шестидесятых годах, в салоне Татьяны Яковлевой я встретил братьев Романовых: Никиту и Александра. Потом мы провели вечер. Александр любит Чехова. Женат, кажется, на итальянской фабрикантке дамских украшений. Когда я читал «Московские колокола», подумалось: «Боже мой, я читаю про царей — но вот они цари...» — Александр грустно улыбнулся.

Кирилл Померанцев, старейший парижский русский поэт, разбирая после смерти хранителя русской культуры в Зарубежье Г. В. Адамовича его архив, нашел стихи мои, написанные Георгию Викторовичу в нью-йоркском отеле: «Прокричу стихи Адамовичу!..» — А-а-а!..

Прекрасный авангардный поэт и художник Вагрич Бахчинян живет в Нью-Йорке.

«Ни дня без строчки» — написал он 365 раз — получилась книга года. Стихи. Вагрич блистательно оформил книгу стихов Нины Берберовой. Страницы книги — сложенные и развернутые симметричные чернильные кляксы, загадочные бабочки чернил, в этом орнаменте слились чувственность и скромность приема и отражение двух зеркальных миров.

О Нине Берберовой хочется сказать особо. Она сейчас переживает взлет признания. В Париже ей посвящена самая престижная телепередача «Апостроф». «Монд» и другие крупнейшие газеты посвящают анализу ее произведений страницы. Редкие из русских писателей получают такое признание.

Ее роман «Железная женщина» я назвал бы инфроманом, романом-информацией, явлением нового стиля нашего информативного времени, ставшего искусством.

Это увлекательное документально-страшное жизнеописание баронессы Муры Будберг — пленительной авантюристки, сквозь сердце которой прошли литературные и политические чемпионы столетия, как-то: классики мировой литературы М. Горький, Уэлс, Локкарт, Петерс. Подобно своей утесовско-лещенковской тезке, она была отважной Мурой литературных и политических салонов, держала мировую игру, где риск и ставки были отнюдь не меньше. Она ходила по канату между Кремлем и Вестминстером.

Что сравнится с женской силой?

Как она безумно смела!

Не женщина была железной, железным был век железных наркомов и решеток. И живая женщина противостоит ему.

Роман этот — лучшая вещь Нины Берберовой. Перо ее кристально, лишено сантимента, порой субъективно, порой нарочно вызывает читателей на полемику, точно по вкусу, выдает характер художника волевого, снайперски точного стилиста, женщины отнюдь не слабого пола.

Информация в ее руках становится образом, инфроманом, не становясь журнали-

стикой, сохраняя магический инфракрасный свет искусства. Свет этот необъясним. Точный кристалл — да, но магический. Многие сегодняшние документалисты не имеют этого невидимого инфраизлучения. Нина Берберова с презрением отвергает клише о женской литературе

как о сентиментальности типа Черской.

Познакомился я с Ниной Николаевной лет двадцать назад, опять же, когда ее еще не посещали пилигримы из нашей страны. На вечере моем в Принстоне сидела стройная слушательница пантерной красоты. В прямой спине ее, в манерах и в речах была петербургская простота аристократизма.

Читатель наш знает стиль и жизнь Н. Берберовой по уже опубликованному. Проза ее вырастает из постапкеистических стихов. Отличает их ирония. Опытные повара «откидывают» отваренный рис, обдают его ледяной водой. Тогда каждое зернышко становится отдельным, а не размазней каши. Так и фразы Берберовой, обданные иронией, жемчужно играют каждым словом, буквой — становятся отборными зернами.

Она одна из первых оценила масштаб В. Набокова, сказала, что появление его оправдывает существование всей эмиграции. Последний раз я выступал в Принстоне в прошлом году. Нина Николаевна сломала руку и не могла быть на вечере — я был приглашен приехать на несколько часов пораньше и побыть у нее. В чистом, как капитанская каюта, домике темнело красное вино. Хозяйка подарила мне авторский экземпляр своей последней книги «Люди и ложи» о русском зарубежном масонстве. Тогда я написал ей стихи. Они в этой книге.

Порадовавшись стихам, Нина Николаевна заметила: «Ну какая же я мисс Серебряный век, Андрюша?» Однако я позволю себе не совсем с ней согласиться. Конечно, она отнюдь не принадлежит к поколению Серебряного века, ее поколение — иного стиля мышления, энергии, вкуса — это дух середины века, но почему-то именно ее, юную Нину Берберову, избрали своей Мисс такие паладины Серебряного века, как Гумилев и Ходасевич?

Ее не избежала судьба женщин — спутников великих художников. В глазах современников она порой заслонена священными тенями. Джентльмены же не раз обливали ее в статьях помоями. Сколько еще зазвучавших, когда-то немых теней?

Я стою в темной минуте кубического крика.
— А-а!

Поэзия — лишь минута немолчания, краткий крик среди темного немого Небытия и Вечности.

Бесгласна ли Вечность?

«А-а-а», — колыхался над смеркающимся Иерусалимом вопль с минарета, и сразу вступили колокола к вечерне. Был различим доминирующий купол размером с садящееся за ним солнце и храм Петушиного крика левее. Православная колокольная была за моей спиной, многопудовый колокол ее внесен в гору на руках безо всяких кранов российскими полонниками, их приходило до 50 тыс. ежегодно перед революцией, как рассказывал мэр Тэди, который строго следит, чтобы все новостройки обкладывались местным камнем теплого тона, так что весь град смотрится как сквозь кальку.

Упрятав денежку, арабский мальчуган показывает путь к Гефсиманскому саду. «Вот место, где плакал Бог», — ткнул он на заросший масличными деревьями склон над стеной Св. Магдалены, которая все сильнее белела по мере наступления сумерек. Все было наполнено эхом разговора, начавшегося две тысячи лет назад. Оно излучало энергию и наполняло смыслом предметы вокруг. Мальчик выпросил «паркер» и с криком побежал к стайке сверстников — «а-а-а»...

А
К
С
И
О
М
А
А
М
О
И
С
К
А
А
К
С
И
О
М
А
С
А
М
О
И
С
К
А

Скульптор
вечей

+ + +

**Над темной молчаливою державой
какое одиночество парить!
Завидую тебе, орел двуглавый,
Ты можешь сам с собой поговорить.**

1978 г.

Хобби света

Я сплю на чужих кроватях,
сажу на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи,—
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.

Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа,
но крылья за моей спиной
работают как ветряки.
Свет не может быть купленным
или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутья свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашел тебя на свалке.
Но я заставляю тебя сиять.

Да будет свет в тебе
молитвенный и кафедральный,
да будут сумерки, как тамариск,
да будет свет
в малиновых твоих подфарниках,
когда ты в сумерках притормозишь.

Но тут мое хобби подменяется любовью.
Жизнь расколота? Не скажи!
За окнами пахнет средневековьем.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60% из химикалиев,
на 40% из лжи и ржи...
Но на 1% из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут мое хобби занимается теософией.
Пузырьки внутри сколов
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Путь лес исповедуется
пред витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства.
Жжет мои легкие эпоксидная смола.
Мне предлагали (по случаю)
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники,
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются бульжники.
Поэтому я делаю витражи.

1975

По мотивам Микеланджело

+ + +

Здесь с копьями кресты святые сходны,
 кровь Господа здесь продают в разлив,
 благие чаши в шлемы превратив.
 Кончается терпение Господне.
Когда б на землю Он сошел сегодня,
 Его б вы окровавили, схватив,
 содрали б кожу с плеч Его святых
 и продали бы в первой подворотне.
Мне не нужны подáчки лицемера,
 творцу преуспевать не надлежит.
 У новой эры — новые химеры.
За будущее чувствую я стыд:
 иная, может быть, святая вера
 опять всего святого нас лишит!

1975

+ + +

Звезде его все словеса — как дым.

Позвал его достойных, так немного.

Мы не примкнем к хвалебному потоку.

Хулителей его мы пригвоздим!

Прошел он двери Ада, невредим,

пред смертным открывались двери Бога.

Но люди, рассуждавшие убого,

дверь родины захлопнули пред ним.

О родина, была ты близорука,

когда казнила лучших сыновей,

себе готовя худшую из казней.

Всегда ужасна с родиной разлука.

Но не было изгнания подлей,

как песнопевца не было прекрасней!

1975

+ + +

Единственно живой средь неживых,
свидетелем он Рая стал и Ада,
обитель справедливую Расплаты
он, как анатом, все круги постиг.

Он видел Бога. Звездопадный стих
над родиной моей рыдал набатно.
Певцу нужны небесные награды.
Ему не надо почестей людских.

(Я говорю о Данте. Это он
не понят был. Я говорю о Данте.)
Он озверевшей банде был смешон.

Непониманье гения — закон.

О, дайте мне его прозренье, дайте!
И я готов, как он, быть осужден.

1975

+ + +

Кончину чую. Но не знаю часа.

Плоть ищет утешенья в кутеже.

Жизнь плоти опостылела душе.

Душа зовет отчаянную чашу!

Мир заблудился в непролазной чаще

среди ядовитых гадов и ужей.

Как черви, лезут сплетни из ушей.

И Истина сегодня — гость редчайший.

Устал я ждать. Я верить устаю.

Когда ж взойдет, Господь, что Ты посеял?

Нас в срамоте застанет смерти час.

Нам не постигнуть истину Твою.

Нам даже в смерти не найти спасенья.

И отвернутся ангелы от нас.

1975

+ + +

**Поглядишь, как несметно
разрастается зло —
слава Богу, мы смертны,
не увидим всего.**

**Поглядишь, как несмелы
табунки васильков —
слава Богу, мы смертны,
не испортим всего.**

1977

В непогоду

З. Б.

В дождь как из Ветхого завета
мы с удивительным детиной
плечом толкали из кювета
забуксовавшую машину.
В нем русское благообразие
шло к византийской ипостаси.
В лицо машина била грязью
за то, что он ее вытаскивал.
Из-под подфарника пунцового
брандспойтово хлестала жижа.
Ну и колеса пробуксовывали,
казалось, что не хватит жизни!
Всего не помню, был незряч я
от этой грязи молодецкой.
Хозяин дачи близлежащей
нам чинно вынес полотенца.
Спаситель отмывался, терся,
отпущивался, балагурия.
И неумелая шоферша
была лиха и белокура.
Нас высадили у заставы,
на перекрестке мокрых улиц.
Я влево уходил, он вправо.
дороги наши разминулись.

1972

Деревянный зал

**Я люблю в Консерватории
не Большой, а Малый зал.
Словно скрипку первосортную,
его мастер создавал.**

**И когда смычок касается
его певчих древесин
Паганини и Касальсы
не соперничают с ним.**

**Он касается Истории,
так что слезы по лицу.
Липы спиленные стонут
по Садовому кольцу.**

**Сколько стона заготовили...
Не перестраивайте вы
Малый зал Консерватории —
скрипку скрытую Москвы.**

**Деревянные сопрано
венских стульев без гвоздей.
Этот зал имеет право
хлопать посреди частей.**

**Белой байковой прокладкой
скутан пол и потолок —
исторической прохладой,
чтобы голос не продрог.**

Когда сердце сиротою,
не для суетных смотри
в малый сруб Консерватории
приходить люблю один.

Он еще дороже вроде бы,
что ему грозит пожар —
деревянной малой родине.
Обожаю Малый зал.

Его зрители — студенты
с гениальностью в очах
и презрительным брезентом
на непризнанных плечах.

Пресвятая профессура
исчезающей Москвы
нос от сбившейся цезуры
морщит, как от мошкары.

Герцена интеллигенция!
Кто раскаялся, что лгал,
пусть подаст, как индульгенцию,
контрамарку в Малый зал.

В этом схожест с братством ложи
я до дрожи узнавал.
Боже,
как люблю я Малый зал!

Даже не консерваторская,
а молитвенная тишь...
В шелковой косовороточке
тайной свечкой ты стоишь.

Скульптор свечей

**Скульптор свечей, я тебя больше года
вылепливал.**

Ты — моя лучшая в мире свеча.

Спички потряхиваю, бренча.

**Как ты пылаешь великолепно
волей создателя и палача!**

Было ль, чтоб мать поджигала ребенка?

Грех работенка, а не барыш.

Разве сжигал своих детищ Коненков?

Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.

Где-то у коек чужих и афиш

**стройно вздохнут твои краткие сестры,
как ты горишь.**

Как я лепил свое чудо и чадо!

Весны кадили. Капало с крыш.

Кружится разум. Это от чада.

Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.

Белый фитиль незажженных светил.

Темное время — вечная вера.

Краткое тело — черный фитиль.

**«Благодарю тебя и прощаю
за кратковременность бытия,
пламя, пронзающее без пощады
по позвоночнику фитиля.**

**Благодарю, что на миг озаримо
мною лицо твое и жилье,
если ты верно назвал свое имя,
значит, сгораю во имя Твое».**

**Скульптор свечей, я тебя позабуду,
скутер найму, умоваю отсюда,
свеч наштампую голый столбняк.
Кашляет ворон ручной от простуды.
Жизнь убывает, наверное, так,
как сообщающиеся сосуды,
вровень свече убывает в бутылке коньяк.**

**И у свечи, нелюбимой покуда,
темный нагар на реснице набряк.**

1977

Сон

**Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюбились мы — в который раз.
Но ты меня не узнавала.**

**Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!**

1972

Тарковский на воротах

Стоит белый свитер в воротах.
Тринадцатилетний Андрей.
Бей, урка дворовый,
Бей, урка дворовый,
бутцей ворованной,
по белому свитеру
бей —

по интеллигентской породе!

В одни ворота игра.
За то, что напаялся белой вороной
в мазутную грязь двора.

Бей белые свитера!

Мазила!
За то, что мазила, бей!
Пускай простирает Джульетта Мазина.
Сдай свитер
в абстрактный музей.

Бей, детство двора,
за домашнюю рвотину,
что с детства твой свет погорел,
за то, что ты знаешь
широкую родину
по ласкам блатных лагерей.

Бей щеткой, бей пыром,
бей хором, бей миром
всех «хоров» и «отлов» зубрил,
бей по непонятному ориентиру.

Не гол — человека забил,
за то, что дороги в стране развезло,
что в пьяном зачат грехе,
что, мяч ожидая,
вратарь назло
стоит к тебе буквой «х».

С великою темью смешон поединок.
Но белое пятнышко,
муть,
бросается в ноги,
с усталых ботинок
всю грязь принимая на грудь.

Передо мной блеснуло азартной фиксой потное лицо Шки.
Дело шло к финалу.

Подошвы двор вытер
о белый свитер.
— Андрюха! Борьба за тебя.
— Ты был к нам жестокий,
не стал шестеркой,
не дал нам забить себя.

Да вы же убьете его, суки!
Темнеет, темнеет окрест.
И бывшие белые ноги и руки
летят, как андреевский крест.

Да они и правда убьют его! Я переглянулся с корешом — тот понимает меня, и мы выбиваем мяч на проезжую часть переуллка, под грузовики. Мячик выпускает дух. Совсем стемнело.

Когда уходил он,
зажавши кашель,
двор понял, какой он больной.
Он шел,
обернувшись к темени нашей
незапятнанной белой спиной.

.

Андрюша, в Париже ты вспомнишь ту жижу
в поспешной могиле чужой.
Ты вспомнишь не урок — Щипок-переулок.
А вдруг прилетишь домой?

Прости, если поздно. Лежи, если рано.
Не знаем твоих тревог.
Пока ж над страной трепещут экраны,
как распятый
твой свитерок.

Бой петухов

Петухи!
Петухи!
Потуши!
Потуши!
Спор шпор,
ку-ка-рехнулись!
Урарь!
Ху-ха...
Кухарка
харакири
хор
(у, икающие хари!)

«Ни фи́га себе Ика́р!»

хр-ррр!

Какое бешеное счастье,
хрипя воронкой горловой,
под улюлюканье промчаться
с оторванной головой!

Забыв, что мертв, презрев природу,
по пояс в дряни бытия,
по горло в музыке восхода —
забыться до бессмертия!
Через заборы, всех беся,—
на небеса!

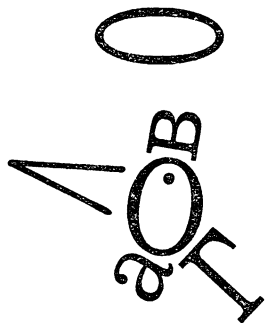
Там, где гуляют грандиозно
коллеги в музыке лугов,
как красные аккордеоны
с клавиатурами хвостов.

**О лабухи Иерихона!
Империи и небосклоны.
Зареванные города.
Серебряные голоса.**

**(А кошка, злая, как оса,
не залетит на небеса.)**

**Но по ночам их кличет пламенно
с асфальтов, жилисто-жива,
как орден Трудового Знамени
оторванная голова.**

1968



Братская помощь

Г. Джагарову

Пой, Георгий, прошлое болит.
На иконах — конская моча.
В янычары отняли мальчика.
Он вернется — родину спалит.

Мы с тобой, Георгий, держим стол.
А в глазах — столетия горят.
Братия насилуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын,
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин
раненая родина зовет?

Если я, положим, янычар,
не свои ль сжигаем алтари?
Где чужие — можем различать,
но не понимаешь, где свои.

Вырванные груди волоча,
остолбеневая от любви,
мама, отшатнись от палача.

Мама! У него глаза — твои.

1968

Неизвестный — реквием в двух шагах, с эпилогом

Лейтенант Неизвестный Эрнст.
На тысячи верст кругом
равнину утюжит смерть
огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,
Но родина в радиосеть:
«В атаку — зовет — твою мать!»
И Эрнст отвечает: «Есть».

Но взводик твой землю ест.
Он доблестно недвижим.
Лейтенант Неизвестный Эрнст
идет наступать
один!

И смерть говорит: «Прочь!»
Ты же один, как перст.
Против кого ты прешь?
Против громады, Эрнст!

Против —
четырехмиллионпятьсотсорокасемитысячевосемь
сотдвадцатитрехквратнокилометрового чудища
против,—
против армии, флота,
и угарного сброда,
против — культпросветвышибал,
против национал-
социализма,—
против!

Против глобальных зверств.
Ты уже мертв, сопляк»?..
«Еще бы»,— решает Эрнст
И делает

Первый шаг!

И Жизнь говорит: «Эрик,
живые нужны живым,
Качнется сирень по скверам
уж не тебе — им,
не будет —

1945, 1949, 1956, 1963 — не будет,
и только формула убитого человечества станет —
3823568004 + 1,

и ты не поступишь в Университет,
и не перейдешь на скульптурный,
и никогда не поймешь, что горячий гипс пахнет,
как парное молоко,
не будет мастерской на Сретенке, которая запирается
на проволочку,

не будет выставки в Манеже,
не будет сердечной беседы с Никитой Сергеевичем,
и 14 апреля 1964 года не забежит Динка
и не положит на гипсовую модель мизинца с облупив-
шимся маникюром,
и она не вырвется, не убежит
и не прибежит назавтра утром, и опять не убежит,
и совсем не прибежит,
не будет ни Динки, ни гипса,
вернее, будут — но для других,
а для тебя никогда, ничего —
не!

не!

не!..

Лишь мама сползет у двери
с конвертом, в котором смерть,
ты понимаешь, Эрик»?!
«Еще бы»,— думает Эрнст.

Но выше Жизни и Смерти,
пронзающее, как свет,
нас требует что-то третье,—
чем выделен человек.

Животные жизнь берут.
Лишь люди жизнь отдают.

Тревожаще и прожекторно,
в отличие от зверей,—
способность к самопожертвованию
единственна у людей.

Единственная Россия,
единственная моя,
единственное спасибо,
что ты избрала меня.

Лейтенант Неизвестный Эрнст,
когда окружен бабьем,
как ихтиозавр нетрезв,
ты пьешь за ночным столом,

когда пижоны и паиньки
пищат, что ты слаб в гульбе,
я чувствую,
как Памятник
ворочается в тебе.

1963

+ + +

**В полях безоглядных — подобье улыбки.
Забывтый на грядке
наперсток клубники.**

**Куда-то ушли и воткнули лопату.
Над нею струится нога, что копала,
и тело, что стало теперь, вероятно,
дрожащем улыбки в полях
безоглядных.**

1979

Русские поэты

**Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила,
не с песней, а с петлей
их горло дружило.**

**И пули свистали,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.**

**Их свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометеи.
И пленных не будет.**

**Несется в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в его мастерской.**

**Свищу, как попало,
и так и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.**

1957

Кроны и корни

**Несли не хоронить,
несли короновать.**

**Седее, чем гранит,
как бронза — красноват,
дымясь локомотивом,
художник жил, лохмат,
ему лопаты были
божественней лампад!**

**Его сирень томилась...
Как звездопад, в поту,
его спина дымилась
буханкой на поду!..**

**Зияет дом его.
Пустые этажи.
На даче никого.
В России — ни души.**

**Художники уходят
без шапок, будто в храм,
в гудящие уголья
к березам и дубам.**

**Побеги их — победы.
Уход их — как восход
к полянам и планетам
от ложных позолот.**

**Леса роняют кроны.
Но мощно под землей
ворочаются корни
корявой пятерней.**

1960

Школьник

Твой кумир тебя взял на премьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое онемело
от присутствия слева.

Что-то будет! Когда бы час пробил,
жизнь ты б отдал с восторгом
за омытый сиянием профиль
в темноте над толстовкой.

Вдруг любимовская рапира —
повезло тебе, крестник! —
обломившись, со сцены вцепилась
в ручку вашего кресла.

Стало жутко и весело стало
от такого события!
Ты кусок неразгаданной стали
взял губами, забывшись.

«Как люблю вас, Борис Леонидович! —
думал ты,— провезло мне родиться.
Моя жизнь передачей больничною,
может, вам пригодится...»

Распрямись, мое детство согбенное.
Детство. Самозабвенье.
И пророческая рапира.
И такая Россия!..

**Через год пролетал он над нами
в белом гробе на фоне небес,
будто в лодке — откинутый навзничь,
взявший весла на грудь — гребец.**

**Это было не погребенье.
Была воля небесная скул.
Был над родиной выдох гребельный —
он по ней слишком сильно вздохнул.**

1960, 1977

Богоматерь-37

Женщины есть в русских городах —
выметают из страны бардак,
может, понимают в каратэ,
но печаль в их божьей красоте.
Женщины на русских площадях
кладут асфальт в оранжевых плащах,
чтобы всем позорище видней —
апельсины наших площадей!
(Только их попробуй пожалей.)
Кто-нибудь есть в наших городах
их понять, раздавленных в катках?

В русских городах женщины есть.
Грустные русалки носят «вест».
Есть в России пара стройных ног —
только наших нет для них сапог.
Металлисток узнает радар.
Женщины есть в русских городах,
в суете безликих городов.
В Амстердаме взят универмаг.
В Лондоне налаживают кров.
Но нерегистрированный ветер
проникает сквозь бетон и фетр.
Спят. Им снится, что в чужих краях —
женщины есть в наших городах.
Ждут гостей. Прически городят.
В зеркало Тарковского глядят.

Жизнь моя давно б прекращена —
но в русском городе есть женщина...
Но мы вспомним сны. Что видишь ты?
Ты вернулась — все дома пусты.
Только эхо носится в стенах:
Кто-нибудь есть в русских городах?
Женщины есть в наших городах,
в сталинских убиты в лагерях.
(И народ на разных языках
повторяет — «в наших городах»...)

С худобой табачною сивилл,
мне Берггольц рассказывала быль,
как ее до выкидыша бил
следователь, выбросив в пролет.
Она все летит и все поет
над страной и дождичком косым —
— Сын!..
Возвратите женщину в мой прах.
Кто-нибудь есть в русских городах?

После сел он к ней в зале Кремля
и спросил от радости, без зла:
«Ольга Федоровна, помните меня?»
Она молча встала и ушла.
Жрал детей своих, медведь-шатун,
русской революции Сатурн.

Пусть, родив, ей молятся без слов
женщины из русских городов.
Выдать ей торопятся на свет
матери четырнадцати лет,
маленькие сверстницы Джульетт.
Она рада. Но ей счастья нет.

Ольга! Ольга! Облик молодой.
Богоматерь — год 37-й.
Разве позабыть тот стыд и страх?
Кто-нибудь есть в русских городах?

Чужая птица издали
простонет перелетным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

1967

Тоска

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ност какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказание?
Сложишь песню — отпустит,
а дальше — пуще.

Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твое дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною...

1967

+ + +

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасеньи —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
последрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь,— скажу,— или Россия,
назад не отпусти!»

1970

+ + +

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если — как исключение —
вас растаптывает толпа,
в человеческом
назначении
девяносто процентов добра.

Девяносто процентов музыки,
даже если она беда,
так во мне,
всмотря на мусор,
девяносто процентов тебя.

1972

Автопортрет

Он тощ, точно сучья. Небрит и мордаст.
Под ним третьи сутки трещит мой матрац.
Чугунная тень по стене нависает.
И губы вполхари, дымясь, полыхают.

«Приветик,— хрипит он,— российской поэзии.
Вам дать пистолетик? А может быть, лезвие?
Вы — гений? Так будьте ж циничнее к хаосу...
А может, покаемся?..
Послушим газетку и через минутку
свернем самокритику, как самокрутку?..»

Зачем он тебя обнимает при мне?
Зачем он мое примеряет кашне?
И щурит прищур от моих папирос...

Чур меня, чур!
SOS! SOS!

1963

Свет друга

Я друга жду. Ворота отворил,
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы — Германа все нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — приедет после девяти.
Судьба, береги его в пути.

1979

+ + +

Дорогие литсобратья!
Как я счастлив оттого,
что средь общей благодати
меня кроют одного.

Как овечка черной шерсти,
я не зря живу свой век —
оттеняю совершенство
безукоризненных коллег.

1975

+ + +

Пусть наше дело давно труба,
пускай прошли вы по нашим трупам,
пускай вы живы, нас истребя,
вы были — трупы, мы были — трубы!

Средь исторической немоты
какой божественною остудой
в нас прорыдала труба Судьбы!
Вы были — трусы, мы были — трубы.

Вы стены строили от нас затем,
что ваши женщины от нас в отрубе,
но проходили мы сквозь толщу стен,
на то и трубы!

Мы трубадуры от слова «дуры».
Вы были правы, нас растоптавши.
Вы заселили все кубатуры.
Пространство — ваше. Но время — наше.

Разве признаетесь вы себе
в звуконепроницаемых срубях,
что вы завидуєте трубе?
Живите, трупы. Зовите, трубы!

1981

Сон

Я шел вдоль берега Оби,
я селезню шел параллельно.
Я шел вдоль берега любви,
и вслед деревни мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишенных лаянья собачьего,
финально шел XX век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах, и в хуторах
стояли Инги и Устины,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шел меж сосен голубых,
фотографируя их лица,
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету...»

1983

Правила поведения за столом

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971

Реквием оптимистический

**За упокой Высоцкого Владимира
коленипреклоненная Москва,
разгладивши битловки, заводи́ла
его потусторонние слова.**

**Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.**

**А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.**

**Спи, шансонье Всея Руси,
отпетый.
Ушел твой ангел в небеси
обедать.**

**Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русский журавель,
в отлете,
орет за тридевять земель:
«Володя!»**

Ты шел закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов.
(Один для матери — большой,
золотенький,
под ним для мальчика — меньшей...)
Володя!..
За этот голос с хрипотцой,
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Спи, русской песни крепостной —
свободен.

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

А в Склифосовке филиал
Евангелия.
И Воскрешающий сказал:
«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реа-
нимацию.

Ввернули серые твои,
как в новоселье.
Сказали: «Топай. Чти ГАИ.
Пой веселее».

**Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: «Вы все — туда.
А я — оттуда!..»**

**Гремите, оркестры,
Козыри — крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе!**

1971

Горный монастырь

**Вода и камень.
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами
Борис и Глеб.**

**Такая мятная
вода с утра —
вкус Богоматери
и серебра!**

**Плюс вкус свободы
без лишних глаз.
Не слово Бога —
природы глас.**

**Стена и воля.
Вода и плоть.
А вместо соли —**

подснежников щепоть!

1970

Озеро

Ночью проснулся. Мне кто-то сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».

Я на себе почувствовал взор,
будто я моря убийца и вор.

Слышу — не спит иркутянин во мгле.
Курит. И предок проснулся в земле.

Когда ты болеешь, все мы больны.
Байкал, ты — хрустальная печень страны!

И кто-то добавил из глубины:
«Байкал — заповедная совесть страны».

Плыл я на лодке краем Байкала.
Вечер посвечивал вполнакала.

Ну, неужели наука солгала
над запрокинутым взором Байкала?

И неужели мы будем в истории —
«Эти, Байкал загубили которые»?

Надо вывешивать бюллетень,
как себя чувствует омуль, тюлень.

Это не только отстойников числа —
совесть народа должна быть чистой,

**чтоб заповедником стало озеро,
чтоб его воды не целлюлозило,**

**чтобы никто никогда не сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».**

Муравей

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать повелено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляниковые бока...
Даже я не умею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц на щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

1973

Русско-американский романс

**И в моей стране и в твоей стране
до рассвета спят — не спиной к спине.**

**И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране и в твоей стране.**

**И в одной цене,— ни за что, за так,
для тебя — восход, для меня — закат.**

**И предутренный холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.**

**И в твоём вранье и в моём вранье
есть любовь и боль по родной стране.**

**Идиотов бы поубрать вдвойне —
и в твоей стране и в моей стране.**

1977

Звезда

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копыя.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звездными своими,
стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
режиссер павлиний.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернуться, может, роль
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня...

А за окнами стоят
талые осины
обнаженно, как талант,—
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актерская судьба!
Голая богиня.

1975

Беловежская баллада

**Я беру тебя на поруки
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что уставилась из угла.**

**Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты — как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!**

**Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло все голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.**

**Затопите печаль в моем доме!
Поет прошлое в кирпичах.
Все гори синим пламенем, кроме —
запалите печаль!**

**В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступления,
как сказали бы раньше,— греха.**

**Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!**

Это пахнет уже не романом,
так бывает пожар и дождь —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключен,
белым черепом со змеею
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

1975

+ + +

Я — двоюродная жена.
У тебя — жена родная!
Я сейчас тебе нужна.
Я тебя не осуждаю.

У тебя и сын и сад.
Ты, обняв меня за шею,
поглядишь на циферблат —
даже крикнуть не посмею.

Поезжай ради Христа,
где вы снятые в обнимку.
Двоюродная сестра,
застели ему простынку!

Я от жалости забьюсь.
Я куплю билет на поезд.
В фотографию вопьюсь.
И запрячу бритву в пояс.

1971

Ялтинская криминалистическая лаборатория

**Сашка Марков, ты — король лаборатории.
Шишка сыска, стихотворец и дитя.
Пред тобою все оторвы припортовые
обожающе снижают скоростя.**

**Кабинет криминалистики — как перечень.
Сашка Марков, будь Вергилием, веди!
Обвиняемые или потерпевшие,
стонут вещи с отпечатками беды.**

**Чья вина позапекалась на напильнике?
Группа крови. Заспиртованный урод.
Заявление: «Раскаившись, насильника
на поруки потерпевшая берет».**

**И, глядя на эту космографию,
точно дети нос приплюснувши во мрак,
под стеклом стола четыре фотографии —
ах, Марина, Маяковский, Пастернак...**

**Ах, поэты, с беззаветностью продавшиеся
ситуациям, эпохам, временам,—
обвиняемые или пострадавшие,
с беспощадностью прощающие нам!**

**Экспертиза, называемая славою,
в наше время для познания нет преград.
Знают правые, что левые творят,
но не ведают, где левые, где правые...**

**И, глядя в меня глазами потеплевшими,
инстинктивно проклиняемое мной,
обвиняемое или потерпевшее,
воет Время над моею головой!**

**Победители, прикованные к пленным.
Невменяемой эпохи лабиринт.
Просветление на грани преступления.
Боже правый, Сашка Марков, разберись!**

1968

Скрытымным

**«Скрытымным» — это пляшут омичи?
скрип темниц? или крик о помощи?
или у Судьбы есть псевдоним,
темная ухмылочка — скрытымным?**

**Скрытымным — то, что между нами.
То, что было раньше, вскрыв, темним.
«Ты-мы-ыы...» — с закрытыми глазами
в счастье стонет женщина: скрытымным.**

**Скрытымным — языков праматерь.
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.
Планы прогнозируем по сопромату,
но часто не учитываем скрытымным.**

**«Как вы поживаете?» — «Скрытымным...»
«Скрытымным!» — «Слушаюсь. Выполним».**

**Скрытымным — это не силлабика.
Лермонтов поэтому непереводим.
Лучшая Марина зарыта в Елабуге.
Где ее могила? — скрытымным...**

**А пока пляшите, пьяны в дым:
«Шагадам, магадам, скрытымным!»
Но не забывайте — рухнул Рим,
не поняв приветствия: «Скрытымным».**

1970

Пиета

**Сколько было тьмы непониманья,
чтоб ладонь прибитая Христа
протянула нам для умыванья
пригорошни, полные стыда?**

**И опять на непроглядных водах
стоком оскверненного пруда
лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.**

1977

Инструкция

**Во время информационного взрыва,
если вы живы,—
что редко,—
накрывайтесь «Вечеркой» или районным
«Призывом»
и не думайте о тарелках.**

**Во время информационного взрыва
нет пива,
нет рыбы, есть очередь за чтивом.
Мозги от черного детектива
усыхают, как черносливы.**

**Контуженные информационным взрывом,
мужчины становятся игривы и вольнолюбивы,
суждены им благие порывы,
но
свершить ничего не дано,
они играют в подъездах трио,
уходят в домино
или кассетное кино.**

**Сфинкс, реши-ка наши кроссворды!
Человечество утроилось.
Информированные красотки
перешли на запоминающее устройство.**

**Музыкальные браконьеры
преодолевают звуковые барьеры.
Многие трупы
записываются в тургруппы.**

**Информационные графоманы
пишут, что диверсант Румянов,
имя скрыв,
в разных городах путем обманов
подготавливает демографический взрыв.**

**Симптомы:
тяга к ведьмам, спиритам и спиртному.**

**Выделяется колоссальная духовная энергия.
Вызывают дух отца Сергия.**

**Над Онегою
ведьмы в очереди зубоскалят —
почему женщин не берут на «Скайлэб»?**

**Космонавт NN к полету готов,
и готов к полету спирит Петров.**

**Как прекрасно лететь над полем
в инфракрасном плаще с подбоем!**

**Вызывает следователь МУРа
дух бухгалтера убиенного.
Тот после допроса хмуро
возвращается в огненную геенну.**

**Над трудящимися Севера
писательница, тепло встреченная,
тарактит, как пустая сеялка
разумного, доброго, вечного...**

**Умирает век — выделяется его биополе.
Умирает материя — выделяется дух.
Над людьми проступают идея и воля.
Лебединую песней летит тополиный пух.**

**Я, один из преступных прародителей
информационного взрыва,
вызвавший его на себя,
погибший от правды его и кривды,
думаю останками лба:**

Мы сами сажали познания яблони,
кощунственные неомичурины.
Нам хотелось правды от бога и дьявола!
Неужто мы обмишурились?

Что даст это дерево взрыва,
привитое в наши дни
к антоновскому наиву
читающей самой страны?

Озерной, интуитивной,
конкретной до откровенья...
Голову ампутируйте,
чтоб в душу не шла гангрена.

Подайте калеке духовной войны!
Сломанные судьбы — издержки игр.
Мы с тобой погибли от информационной
войны.
Информационный взрыв — бумажный тигр.

...Как тихо после взрыва! Как вам здорово!
Какая без меня вам будет тишина...
Но свободно залетевшее
иррациональное зернышко
взойдет в душе озерного пацана.

И все будет оправдано этими очами —
наших дней запутавшийся клубок.
Вначале было Слово. Он все начнет сначала.
Согласно информации, слово — Бог.

Монолог века

**Приближается век мой к закату —
ваш, мои отрицатели, век.**

На стол карты!

У вас века другого нет.

**Пока думали очевидцы:
принимать его или как? —
век мой, в сущности, осуществился
и стоит как кирпич в веках.**

**Называйте его уродом
Шлите жалобы на творца.
На дворе двадцатые годы —
не с начала, так от конца.**

**Историческая симметрия.
Свет рассветный — закатный снег.
Человечья доля смиренная —
быть как век.**

**Помню, вышел сквозь лёт утиный
инженера русского сын
из ворот Золотых Владимира.
Посмотрите, что стало с ним.**

**Бейте века во мне пороки,
как за горести бытия
дикари дубасили бога.
Специален бог для битья.**

**Века Пушкина и Пуччини
мой не старше и не новей.
Согласитесь, при Кампучии —
мучительней соловей.**

Провожайте мой век дубиною
каков век, таков и поэт.
Извините меня, любимые,
у вас века другого нет...

...Изучать будут век мой в школах,
пока будет земля Землей,
я не знаю, конечно, сколько,
но одно понимаю — мой.

1979

А
К
С
И
О
М
А
А
М
О
И
С
К
А
А
К
С
И
О
М
А
С
А
М
О
И
С
К
А

Сообщающие
сосуды

ПУСТАЯ

АПЕЛЬСИНЫ, АПЕЛЬСИНЫ...

Отель «Черти» — антибуржуазный, на-
верное, самый несуразный отель в мире.
Он похож на огромный вокзал десятых
годов, с чугунными решетками галерей —
даже, кажется, угольной гарью пахива-
ет. Впрочем, может, это тянет сладкова-

тым запретным дымком из комнат.

Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Здесь вечно ломают-
ся лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за
это здесь платят деньги. Это стиль жизни целого общественного
слоя людей, озабоченных социальным переустройством мира, по
энергии тяготеющих к «белым дырам», носящих полувоенные
сумки через плечо и швейцарские офицерские крестовые крас-
ные перочинные ножи.

За телефонным коммутатором сидит хозяин Стенли, похожий
на затурканного дилетанта-скрипача не от мира сего. Он по
рассеянности вечно подключает вас к неземным цивили-
зациям.

В лифте поднимаются к себе режиссеры подпольного кино,
звезды протеста, бритый под ноль бакуинец в мотоциклетной
куртке, мулатки в брюках из золотого позумента и пиджаках,
надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды,
будто незанятые такси.

Обитатели отеля помнили эту историю.

Это была история одного песнопевца, его мгновенной сказочной
славы. Он приехал из суровой снежной гоцстраны, которая
сильно пострадала во время войны.

Сюда приехал он на выступления. Известный драматург, уе-
хав на месяц, поселил его в своем трехкомнатном номере в
«Черти». Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с по-

лом, застеленным серым войлоком. Да-
лее следовала спальня.

Началась мода на него. Международный
город закатывал ему приемы, первая
дама страны приглашала на чай. У него
кружилась голова.

Она была одним из доказательств этого головокружения.

Она была фоторепортером. Порвав с буржуазной средой отца, кажется, австрийского лесовика, она стала люмпеном левой элиты, круга Кастро и Кортасара. Магниевая вспышка подчеркивала ее близость к иным стихиям. Она была звездна, стройна, иронична, остра на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна. Она влетала в судьбы, как маленький солнечный смерч восторженной и восторгающей энергии, заряжая напряжением не нашего поля. «Бабочка-буря» — мог бы повторить про нее поэт.

Едва она вбежала в мое повествование, как по страницам закружились солнечные зайчики, слова заволновались, замелькали. Быстрые и маленькие пальчики, забежав сзади, зажали мне глаза.

— Бабочка-буря! — безошибочно завопил я.

Это был небесный роман.

Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. Хотя он и подзревал, что она не всегда пользуется услугами самолетов. Когда в сентябре из-за гроз аэропорт был закрыт, она как-то ухитрилась прилететь и полдня сушилась.

Ее черная беспечная стрижка была удобна для аэродромов, раскосый взгляд вечно щурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. Ее тонкий нос и нервные, как бусинки, раздутые ноздри говорили о таланте капризном и безрассудном, а чуть припухлые губы придавали лицу озадаченное выражение. Она носила шикарно скроенные одежды из дешевых тканей. Ей шел оранжевый. Он звал ее подпольной кличкой Апельсин.

Для его суровой снежной страны апельсины были ввозной диковиной. Кроме того, в апельсинном горьком запахе ему

чудилась какая-то катастрофа, срыв в ее жизни, о котором она не говорила и от которого забывалась с ним. Он не давал ей расплачиваться, комплексуя со всей валютой.

Не зная языка, что она понимала в его славянских песнях? Но она чуяла за иступленностью исполнения прорывы судьбы, за его романтическими эскападами, провинциальной неотесанностью и развязностью поп-звезды ей чудилась птица иного полета.

В тот день он получил первый аванс за пластинку. «Прибарахлюсь,— тоскливо думал он, возвращаясь в отель.— Куплю тачку. Домой гостинцев привезу».

В отеле его ждала телеграмма: «Прилетаю ночью тчк апельсин». У него бешено заколотилось сердце. Он лег на диван, дремал. Потом пошел во фруктовую лавку, которых много вокруг «Черти». Там при вас выжимали соки из моркови, репы, апельсинов, манго — новая блажь большого города. Буйвологлазый бармен прессовал апельсины.

— Мне надо с собой апельсинов.

— Сколько? — презрительно промычал буйвол.

— Четыре тыщи.

На Западе продающие ничему не удивляются. В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашел еще в две.

Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжкие картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы «Черти», вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруктовая сделка. Он отключил телефон и заперся.

Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя головой, в черном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.

Он открыл ей со спутанной прической, в расстегнутой полузаправленной рубашке. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. Ее лицо осунулось. Сразу стала видна паутинка усталости после полета. У него кто-то есть! Она сейчас же развернется и уйдет.

Его сердце колотилось. Сдерживаясь из-
всех сил, он глухо и безразлично сказал:
— Проходи в комнату. Я сейчас. Не за-
жигай света — замыкание.
И замешкался с ее вещами в полутемном
предбаннике.

Ах так! Она еще не знала, что сейчас
сделает, но чувствовала, что это будет что-то страшное. Она
сейчас сразу все обнаружит. Она с размаху отворила дверь
в комнату. Она споткнулась. Она остолбенела.

Пол пылал.

Темная пустынная комната была снизу озарена сплошным раска-
ленным булыжником пола.

Пол горел у нее под ногами. Она решила, что рехнулась. Она
поплыла.

Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному,
как огненная мостовая. Из некоторых вырывались язычки пла-
мени. В центре подпрыгивал одинокий стул, будто ему поджари-
вали зад и жгли ноги. Потолок плыл алыми кругами.

С перехваченным дыханием он глядел из-за ее плеча. Он сам не
ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на
карачках укладывал эти чертовы скользкие апельсины, как
через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранже-
вого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучи-
ной, чтобы не раздавить их, зажигал свечи. Пламя озаряло
пупырчатые верхушки, будто они и вправду раскалились. А мо-
жет, это уже горели апельсины? И все они оранжево орали
о тебе.

Они плясали в твоём обалденном черном проливном плаще,
пощечинами горели на щеках, отражались в слезах ужаса и рас-
каянья, в твоей пошатнувшейся жизни. Ты горишь с головы до
ног. Тебя надо тушить из шланга!

Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жиз-
ни не было и не будет такого. Через пять,
десять, через пятнадцать лет ты так же
зажмуришь глаза — и под тобой поплы-
вет пылающий твой единственный неуга-
симый пол. Когда ты побежишь в дру-
гую ванную, он будет жечь тебе босые

ступни. Мы горим, милая, мы горим.
Мы дорвались до священного пламени.
Уймись, мелочное тщеславие Нерона,
пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-
арта!

Это отмщение ограбленного детства, пы-
лайте, напрасные годы запоздавшей
жизни. Лети над метелями и парижками, наш пламенный плот!
Сейчас будут давить их, кувыркаться, хохотать в их скользком,
сочном, резко пахучем месиве, чтоб дальние свечки зашипели от
сока...

В комнате стоял горький чадный зной нагретой кожур.
Она покосилась, стала оседать. Он едва успел подхватить ее.
— Клинический тип,— успела сказать она.— Что ты творишь!
Обожаю тебя...

Через пару дней невозмутимые рабочие
перестилали войлок пола, похожий на
абстрактный шедевр Поллока и Кандин-
ского, беспечные обитатели «Черти» уп-
летали оставшиеся апельсины, а Ширли
Кларк крутила камеру и сообщала с ува-
жением к обычаям других народов: «Рус-
ский дизайн».

ТАГАНКА — АНТИТЮРЬМА

Когда «Таганка» еще зарождалась, даже не имела своего имени (помню, как потом скопом долго подбирали ей наименование, а начальство все не разрешало ее «Таганкой» называть), ко мне на Елоховскую приехали темногривый создатель ее — Юрий Петрович Любимов и завлит театра Элла Левина. Он еще не был великим режиссером, но уже чувствовал свое предназначение, нетерпеливо поигрывал под курткой плечами гимнаста, привыкшего крутить «солнце» на турнике. На него опасно косились в коридорах власти. Гости предложили мне стать автором нового театра.

Результатом явились два сценических вечера, именовавшихся в афише «Поэт и театр», в которых я читал второе отделение, а в первом мои стихи играли актеры театра с гитарами. Полтора месяца перед этим они репетировали. Музыку написали В. Высоцкий, В. Васильев и Б. Хмельницкий. Так родился спектакль «Антимиры», прошедший потом более 800 раз. Так первая встреча с «Таганкой» продлилась на годы. Так в мою жизнь шумно вошли В. Высоцкий, В. Смехов, В. Золотухин, А. Демидова, З. Славина, Н. Шацкая, Т. Додина, Б. Хмельницкий, Гоша Ронинсон — всех не назвать... А потом «новая волна» — Л. Филатов, Д. Боровский, Т. Сидоренко, словом, все «таганцы». Как, наверное, и я вошел в их жизнь.

«Антимирам» было суждено стать первым спектаклем, поставленным на таганской сцене. Его сыграли даже раньше, чем «Десять дней...». В «Антимирах» Высоцкий впервые в жизни вышел на театральную сцену с гитарой. Каждый сотый

спектакль играли особо. Мы с актерами писали новые тексты, турандотствовали после спектакля, я читал в зале новые стихи — так были впервые прочитаны «Стыд», «Оптимистический реквием по Владимиру Высоцкому», «Васильки Шагала». Власти периодически пытались закрыть спектакль. Помню, один из «юбилейных» «Антимиров» пришелся на 3 февраля 1965 года. Я вышел на сцену и сказал: «Сегодня у нас особо счастливый день». И, подумав, пояснил залу: «Сегодня день рождения завлита Э. П. Левиной». Все захлопали. Наутро директора театра Н. Л. Дупака вызвали наверх, топали ножищами на него: «Как поэт мог позволить себе сказать про счастливый день?!» Оказалось, что в этот день на Красной площади были похороны Ф. Г. Козлова, могущественнейшего временщика, второго лица в государстве, кстати, как говорили, одного из отцов бриллиантовой коррупции.

«Таганка» была художественным эпицентром свободолюбивой интеллигенции. Блистательные актеры ее ренессансно одарены — поэты, композиторы, прозаики.

Многие нынешние идеи гласности родились на «Таганке». Зритель там был особо талантлив. Таганская нация — интеллигенция высшей пробы. Великим зрителем была молодая, мыслящая революционно интеллигенция, которая ныне пытается изменить страну. Зал взрывался не только от политических острот, но и от художественных озарений. Вопреки застойным временам создавались шедевры.

На «Таганке» я познакомился с Н. Р. Эрдманом, П. Л. Капицей, с молодым А. Д. Сахаровым. Правительственной ложки в зале не было. На премьере «Пушкина» я оглянулся — рядышком тесно

сидели опальный А. Д. Сахаров, диссидент В. Максимов, член Политбюро Полянский, космонавт, подпольный миллионер, либеральный партаппарат, светские львицы, студенты, шуршавшие «самиздатом».

Многие мои вещи родились, вдохновленные духом «Таганки», — оп-опера «Дама Треф», «Провала прошу», «Песня о Мейерхольде», написанная к задуманному спектаклю с музыкой А. Шнитке.

Благодарю судьбу за то, что свела с «Таганкой».

Право не знаю, где в «Таганке» веселое, где грустное. Все веселое с грустной изнанкой.

На заре театра Ю. П. Любимов, вместе с министром культуры Е. А. Фурцевой и ее приближенными обходя здание, ввел ее в свой кабинет и показал на только что оштукатуренные стены: «А здесь на стене мы попросим расписываться известных людей...»

Разрумянясь от шампанского, министр захлопала в сухие ладошки и обернулась ко мне: «Ну, поэт, начните! Напишите нам экспромт!» Получив толстенный фломастер, я написал поперек стены: «Все боги — как поганки перед бабами с Таганки!»

У Ю. П. вспыхнули искры в глазах. Министр молча развернулась и удалилась. Надпись потом пытались смыть губкой, но она устояла.

Впоследствии Фурцева приезжала запрещать «Кузькина». Я тогда выступил против нее, в защиту спектакля, хотя даже вход тогда в зал был строжайше запрещен — будто шла речь о водородной бомбе, а не о спектакле. Впрочем, сама Фурцева была незлым человеком — эпоха была такова.

Если «Кузькин» был, наверное, самым смелым спектаклем Таганки, то «Береги-

те ваши лица», второй наш спектакль, был спектаклем-метафорой. Я уже осилил написать пьесу. Начинался спектакль заклинанием: «тьма-тьма-тьмать-мать». Из тьмы застой вдруг рождалась творческая жизнь — «мать»... Почти год мы репетировали, не расставались. В. Высоцкий играл главную роль. По его желанию мы вставили «Охоту на волков» и еще одну его песню — «Ноты», написанную для этого спектакля. «Лица» прошли три раза. Потом их напрочь запретили. Меня уламывали снять «Волков». Тогда якобы будет легче отстоять спектакль. Мы, конечно, на это не могли пойти. Спектакль погиб. Любимов был отстранен от работы, а когда восстановлен, то над «Лицами» продолжало

висеть запрещение, ибо существовало решение горкома по спектаклю, так и не снятое. «Наш первенец был сбит, как птица: влет», — спел потом об этом на 10-летию театра В. Высоцкий.

Победы давались ценой жертв, напряжения воли. Но театр оставался веселым, праздничным. И при всех дерзких «сюрреалистических авангардных поисках», восхищавших знатоков, Таганка никогда не теряла духа площади, свободы. Не случайно в новом здании театра задняя стена за сценой распахивается прямо на улицу. Все театры начинаются с вешалки, Таганка — с площади. Дух Таганки неубиваем. Дух народной воли ныне вырвался из стен, он может победить. В его энергии есть и доля идей театра по имени «Таганка».

Парадоксально, что непостижимые шедевры Таганки созданы в годы так называемого застоя, вопреки ему, под постоянным прессом запрета. Также чудом, адским напряжением, кровью осуществлялись спектакли О. Ефремова, «Холстомер» Г. Товстоногова и М. Розовского, фильмы Тарковского, «Юнона и Авось» м. Захарова. Лишь колдовством Воланда

можно объяснить выпуск «Мастера», так же как и предшествующее опубликование книги. Казалось, стиснутый стон страны, политическая немота сублимировались в одинокие прорывы искусства. Но тайными, невидимыми капиллярами они были вместе. Так рождался стиль Любимова — зрительная метафора. Сжавши зубы, ты работала, Таганка. Капитан твой лишь два раза пропустил репетиции — один раз хоронил Твардовского, другой — мать. Даже классические работы по Достоевскому, Шекспиру, даже горьковская «Мать», «Борис Годунов» — все натыкалось на преграду. Финалом стало изгнание Любимова. После отъезда Ю. П. я перестал бывать на «Таганке». Театр

перестал быть собой, пытались изменить генетический код «Таганки». Ни разу я не смог заставить себя зайти в театр, несмотря на все настойчивые приглашения. Хотя я очень ценил А. Эфроса как режиссера, мастера великого. Глупо, наверное, но ничего с собой не мог поделаться. (Лишь раз, поборов себя, пришел проститься с «Мастером и Маргаритой» перед тем, как спектакль сняли, — но это я приходил к прошлому театру.) Очень больно было за актеров. Только когда победило родовое таганское начало во главе с Николаем Губенко, я вновь пришел в театр. Вряд ли кто способен на такой подвиг самопожертвования, какой совершил Н. Губенко.

ИЗ ДНЕВНИКА

Когда ввели в культуру танки,
я не подыгрывал подлянке —
не преступал порог Таганки,
когда в ней не было Таганки.
Не корчу из себя гиганта,
но просто иначе не мог
С новым рождением, Таганка!
Вот он, твой бог и твой порог.

Дни рождения свои таганцы справляли

шумно, вся Москва собиралась. Помню, на одном из юбилеев я сдуру «на счастье» разбил глиняного петуха, в другой раз купил на Птичьем рынке щенка восточноевропейской овчарки и подарил его театру, чтобы он охранял от врагов. Потом щенка этого взяла себе на воспитание А. Демидова, а когда зверь вымахал в страшное чудовище, подарила его кому-то в Черноголовку. В очередной день рождения я написал стихи. Я их читал всегда, когда разрешали читать и когда запрещали, но сегодня хочется, чтобы они прозвучали опять...

Вы мне читаете, притворщик,
Свои стихи в порядке бреда.
Вы режиссер, Юрий Петрович,
Но я люблю Вас как поэта...

Когда актеры, грим обтерши,
Выходят, истину отдавая,
Вы божьей милостью актеры,
Но я люблю вас как поэтов...

Учи нас тангенсам — котангенсам,
Таганская десятилетка.
Мы с вами, зрители Таганки.
По совокупности поэты...

Но мне иное время помнится,
Когда крылатей серафимов
Ко мне в Елоховскую комнату
Явился кожаный Любимов...

То чувство страшно потерять,
Но не дождутся, чтобы где-то
Во мне зарезали Театр,
А в вас угробили Поэта.

Эта особая поэтическая триада — режиссер — актеры — зрители — и называется Таганкой.

На наших глазах рок произвел электрогитаризацию всей страны. В этом есть плюс. Процессы подключились к мировому энергетическому полю. Родилась субкультура.

Но первым гитарным театром была Таганка, и в первом своем гитарном спектакле прокричала в усилители:

Рок-н-ролл, об стену сандалиии!
Ром в рот. Лица как неон.
Ревет музыка скандальная...
Рок! Рок! Sos! Sos!

Таганцы это «в рот» произносили по-русски, даже по-лагерному — рождались тематика и стиль русского рока.

Любимый сын Таганки В. Высоцкий в отличие от запстаров был деликатен в жизни. Он мог бы закатить свадьбу на Манежной

площади — все равно не хватило бы мест. Помню, он подошел и торжественно-иронически произнес: «Имею честь пригласить вас на свадьбу, которая состоится 13 января 1970 года. Будут только свои.» На торжестве в снятой накануне однокомнатной квартирке на 2-ой Фрунзенской набережной, за один день превращенной М. В. Влади в уютное гнездышко, мы встретили лишь Ю. Любимова, Л. Целиковскую, В. Абдулова, режиссера А. Митту с женой Люсей, изготовившей сказочно роскошный пирог. Владимир был светлогрустен, молчал, ничего не пригубил. Был, конечно, и Зураб Церетели, по приглашению которого молодожены уезжали в путешествие по Грузии... Дух Высоцкого вечно останется с Таганкой...

Что означают для театра цифры XXV? Что закодировано в них? Дважды накрест перечеркнутые тирания и стагнация? И приветственные пальцы, поднятые вверх буквой «V» как знак победы?.. Ты не отвечаешь, ты работаешь, Таганка. С серебряной датой тебя! Серебряной гривой потряхивает твой капитан. Чем поразишь нас завтра, Таганка? ●

ВСЕНАРОДНЫЙ ВОЛОДЯ

Вот знаменитые дыры. Вот парк скульптур Мура. Они стали основой его стиля и индивидуальности. Поздние осы выются сквозь них. Люди смотрят мир сквозь них. Здесь каждый может подобрать себе по размеру печаль и судьбу. Надо знать только свою душевную диоптрию. Пространства и события не только вокруг, но и внутри нас. В нас видны, плывут, просвечивают пейзажи горя, лиц, разлук и пространства иных измерений. Мы стоим по колено в траве и вечности.

Глухое волнение исходит от следующей скульптуры. Перехватило горло. Я прошу остановиться. Выходим.

На боку лежит двувальный силуэт из темного мрамора с дырой посередине — как положенная на ребро, окаменевшая в монумент гитара Высоцкого.

Опустив голову... Но нет, сначала о Таганке. Год, когда я первый раз посетил Мура, был годом открытия Театра на Таганке. Это было веселое, рискованное, творящее время.

Молодые талантливые глотки орали под гитару: Анти-миры — мура!

Самым небрежно-беспечным и замороженным от гибели казался коренастый паренек в вечной подростковой куртке с поднятым воротником. Он сутулился, как бегун перед длинной дистанцией.

Почти вплотную придвинувшись, почти касаясь невзрослыми ресницами, ставшее за столько лет близким, его молодое, изуренное мыслью лицо в упор глядит на меня сквозь эту страницу. Его лоб убегает под рассыпчатую скошенную челку, в светлых глазах под усмешкой таится недосказанный вопрос, над губой прорастает русая щетинка — видно, запуская усы перед очередным фильмом, — подбородок обволакивает мягкая припухлость, на напряженной шее вздулась синяя вена — отчего всегда было так боязно за него!

Попытавшийся нарисовать его с удивлением вдруг обнаружил в его лице античные черты — эту скошенную по-

бельведерски лобную кость, прямой крепкий нос, округлый подбородок,— но все это было скрыто, окутывалось живым обаянием, приклатненной усмешечкой и тем неприкаянным, непередаваемым, трудным светом русской звезды, который отличается от легкого света поп-звезд Запада. Это была уличная античность, ставшая говорком нашей повседневности,— он был классиком московских дворов.

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Облазивший городские крыши, уж не угнал ли он на спор чугунную четверку с классического фронтона? Я никогда не видел на нем пиджаков. Галстуки теснили ему горло, он носил свитера и расстегнутые рубахи. В повседневной жизни он не лез на рожон, чаще отшучивался, как бы тая силы и голос для главного. Нас сблизил «Антимиры». Он до стога заводил публику в монологе Ворона. Потом для него ввели кусок, в котором он проявил себя актером трагической силы. Когда обрушивался шквал оваций, он останавливал его рукой. «Провала прошу»,— хрипло произносил он. Гас свет. Он вызывал на себя прожектор, вжимал его в себя, как бревно, в живот, в кишки и на срыве голоса заканчивал другими стихами: «Пошли мне, Господь, второго». За ним зияла бездна. На стихи эти он написал музыку. Это стало потом его песней, которую он исполнял в своих концертах. Для сельского сердца Есенина загадочной тягой были цилиндр и шик автомашины, для Высоцкого, сорванца города, такой же необходимостью на грани чуда стали кони и цветы с нейтральной полосы.

«Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее», но кони несли, как несли его кони!

В нем нашла себя нота городских окраин, дворов, поспешно заасфальтированной России — та же российская есенинская нота, но не крестьянского уклада, а уже нового, городского. Поэтому так близок он и шоферу, и генералу, и актрисе — детям перестроенной страны. Пел он, что думала улица,— о тягостях житухи, о бардаке производства, о проворовавшемся вельможе, называя все своими именами. Время показало, как он был прав.

Часто он писал свои стихи при включенном телевизоре — это даже помогало ему.

Кто сказал, что самородки рождаются лишь у ручьев, в заповедных рощах, в муромских лесах? Что только па-стушки и подпаски — народные избранники? В городах тоже народ живет. Высоцкий — самородок. Он стал сегодняшней живой легендой, сюжетом людской молвы, сказкой проходных дворов. Он умыкнул французскую русую русалку, посадив ее на желтое двойное седло своей гитары.

Что сгубило его? Думаю, что, имея он возможность петь, скажем, в Лужниках, под стать размаху дарования, не будь этого душевного разлада, беда не сладила бы с ним. Умер он ночью во сне, связанный веревками. Друзья связали его, чтобы не буйствовал и отдохнул перед спектаклем. Эти тугие вервия медью отпечатались в бронзовом памятнике. Если встать лицом к памятнику его на Ваганькове, то бронзовая гитара как нимб блеснет за его головой.

Смерть его вызвала море стихов — все, даже те, кто травил его или помыкал им, кинулись воспе-вать его. Где они были, когда поэт хрипел, когда ему так нужно было доброе слово?

Бесчисленны народные стихи и плачи о нем. В них глав-ное — искренность. Мне показывали несколько моих, кото-рые я видел впервые. Увы, должен сказать, что мне принад-лежат лишь три посмертных стихотворения его памяти. Еще одно, «Реквием», тогда называвшийся «Оптимистический», я написал при его жизни, в семидесятом году, после того, как его реанимировал Л. О. Бадалян:

Шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов...
О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

Страшно, как по-другому читается это сейчас. Ему эти стихи нравились. Он показывал их отцу. Когда ру-

салка прилетала, он просил меня читать ей их. Стихи эти долго не печатали. После того как «Высоцкий» было заменено на «Владимир Семенов», они вышли в «Дружбе народов». Как Володя радовался публикации! Та же «Дружба» первой рискнула дать его посмертную подборку стихов с моим предисловием. Трудно писать еще о нем, такая мука слушать его пленки — так жив он во всех нас. На десятилетии Таганки, «червонце», он спел мне в ответ со сцены:

От наших лиц остался профиль детский,
Но первенец был сбит, как птица, влет.
Привет тебе, Андрей, Андрей, Андрей Андреич
Вознесенский.

И пусть второго бог тебе пошлет...

Страшно сейчас услышать его живой голос с пленки из бездны времен и судеб. Он никогда не жаловался, как ни доставалось ему. В поэзии он имел сильных учителей.

Он был тих в жизни, добр к друзьям, деликатен, подчеркнуто незаметен в толпе. Для театра он был вроде меньшого любимого брата. Он по-детски собирал зажигалки. В его коллекции лежит «Ронсон», который я ему привез из Лондона. Его все любили, что редко в актерской среде, но гибельность аккомпанировала ему — не в переносном смысле, а в буквальном.

Однажды на репетиции «Гамлета» в секунду его назначенного выхода на место, где он должен был стоять, упала многотонная конструкция. Она прихлопнула гамлетовский гроб, который везли на канате. Высоцкий, к счастью, заговорился за сценой. Он часто бывал и певал у нас в доме, особенно когда мы жили рядом с Таганкой, пока аллергия не выгнала меня из города. Там, на Котельнической, мы встречали новый 1965 год под его гитару.

Заходите, читатель, ищите стул, а то располагайтесь на полу. Хватайте объятые паром картофелины и ускользающие жирные ломти селедки. Наливайте что бог послал! Пахнет хвоей, размолвшей от свечек. Эту елку

неожиданно пару дней назад завез Владимир с какими-то из своих полууголовных персонажей. Гости, сметя все со стола — никто не был богат тогда, — жаждут пищи духовной.

Ностальгический Булат, основоположник струнной стихии в стихе, с будничной властностью настраивает незнакомую гитару и, глянув на Олю, поет своего «Франсуа Вийона». Разве он думал тогда, что ему придется написать «Черного московского аиста»?

Будущий Воланд, а пока Веня Смехов, каламбурит в тосте. Когда сквозь года я вглядываюсь в эти силуэты, на них набегают гости других ночей той квартиры, и уже не разобрать, кто в какой раз забредал.

Вот Олег Табаков с ядовитой усмешкой на капризном личике купидона еще только прищуривается к своим великим ролям «Обыкновенной истории» и «Обломова». Он — Моцарт пляды, рожденной «Современником».

Тяжелая дума, как недуг, тяготит голову Юрия Трифонова с опущенными ноздрями и губами, как у ассирийского буйвола. Увы, он уже не забредет к нам больше, летописец тягот, темных времен и быта, быта асфальтовой Москвы. Читает Белла. Читая, она так высоко закидывает свой хрустальный подбородок, что не видно ни губ, ни лица, все лицо оказывается в тени, видна только беззащитно открытая шея с пульсирующим неземным знобящим звуком судорожного дыхания.

Бывал Шагал. Белый, прозрачный, как сказочный морозный узор на стекле с закатным румянцем. В той же манере он сделал иллюстрации к моим стихам. Вот он, потупясь, из-под деликатных кисточек бровей косится на барственную осанку Константины Симонова и вздыхает Зое: «О! давненько я такого борща не кушал. Еще полтарелочки, а?»

Да нет же, я ошибся, это, конечно, в другой раз было, дурная черная дыра, ты подводишь меня, это было уже в Переделкине, а сейчас безбородый Боря Хмельницкий, Бемби, как его звали тогда, что-то травит безусому еще Валерию Золотухину. Тот похохатывает, как откашливается, будто в горле першит, будто горло прочищает перед своей бескрайней песней «Ой, мороз, мороз...».

Майя Плисецкая в золотом обтягивающем платье откидывается, как на черную спинку стула, на широкую волевою грудь Щедрина. Они будто репетируют перед нами «Кармен-сюиту».

И каждый выпукло светится, оттененный бездной судьбы за спиной.

Смуглый Таривердиев, не стряхнув коротко стриженный снег с головы, нервно сбрасывает нерповую куртку на грудку пальто и шуб в спальне и, морщась, как от зубной боли, углубляется в ненастроенное пианино.

В открытый проем балконной двери залетают снежинки и тают, касаясь голых разогретых плеч его головокружительно красивой спутницы.

В проем двери, затягивая, глядела великая тьма колодца двора.

Двор пел голосом Высоцкого.

Когда он рванул струну, дрожь пробежала. Он пел «Эх, раз, еще раз...», потом «Коней». Он пел хрипло и эпохально:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Это великая песня.

Когда он запел, страшно стало за него. Он бледнел иступленной бледностью, лоб покрывался испариной, вены вздувались на лбу, горло напрягалось, жилы выступали на нем. Казалось, горло вот-вот перервется, он рвался изо всех сил, изо всех сухожилий...

Пастернак говорил про Есенина: «Он в жизни был улыбочивый, королевич-кудрявич, но когда начинал читать, становилось понятно — этот зарезать может». Когда пел Высоцкий, было ясно, что он может не зарезать, а зарезаться.

Что ты видел, глядя в непроглядную лунку гитары?

В сорок два года ты издашь свою первую книгу, в сорок два года у тебя выйдет вторая книга, и другие тоже в сорок два, в сорок два придут проститься с тобой, в сорок два тебе поставят памятник — все в твои теперь уже вечные сорок два.

Постой, Володя, не уходи, спой еще, не уходи, пусть подождут там, спой еще...

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Опустив голову, осторожно в день его рождения, 25 января, мы с Юрием Петровичем Любимовым несем венок на могилу. Уже вторая годовщина его смерти идет.

Венок выше нас.

Когда заносили, разворачивали венок, я оказался на мгновение за венком, лицом к процессии. И вдруг на миг в овальной хвойной раме венка поплыли лица тех, кто шел за венком, тех, кто начинал с ним театр, родные любимые лица — Боря, Тая, Валера, Зина, Коля, Алла, Таня, Веня,— в эту минуту не знаменитые артисты, нет, а его семья, его театр, пришедший к усопшему брату своему, безутешные годы театра плачут по нему, плачут, плачут,

плачут...

1981 г.



ПОЭЗИЯ БЕЗ НИТРАТОВ

Мы говорим о скрипке Энгра, Эйнштейна, Тухачевского. Они не знали дефицита инструментов — пошел в лавочку и купил. Другое дело — пианино Донелайтиса. Когда этот родоначальник литовской поэзии захотел сыграть на фортепьяно, ему пришлось самому сначала смастерить инструмент. В XVIII веке в его краю пианино не существовало. Поэт своими руками создал его — второе во всей Пруссии — и играл на нем.

Будучи священником, он сам сложил храм в своем приходе. Так же он создал и литовскую литературу. Может, этим он особо близок мне — мой прапрадед, священник, ссыльный, потом ставший архимандритом, сам складывал Муромский собор.

Лет пятнадцать назад я не мог дочитать его бескрайнюю поэму — почему же сегодня читаю ее залпом, насушно?

Длинные строки уложены плотно, как борозды литовского крестьянина. На них произрастают плодовоовощи, вера и поэзия без нитратов. Стихи читаются, будто обращенное к нам руководство по восстановлению сельского хозяйства, разоренного в сталинские годы и добитого в хрущевские.

Вы посадите капусту, морковь и репу посеете,
помните крепко о луке, не забывайте о свекле,
о пастернаке...

Нашим душам, изнуренным химикалиями, изголодавшимся по натуральной правде, нужна такая поэзия.

«Глядите в небо!» Будто поэт предостерегает от подмеченного Бердяевым «отрыва хозяйства от духа», ибо «хозяйство имеет бытийственные, божественные основы».

Заботы поэта и духовника совпадают.
Думаю, и нашему телевидению не помешал бы сегодня еще один — духовный — канал.

Вчитываясь, я понимаю генетику сегодняшнего взрыва литовской культуры, в мощном описании свадьбы маячат дей-

ства Паневежиса, локальные силуэты Якубониса, становятся понятны философия Марцинкявичуса и одичность Межелайтиса.

Все будущие направления угадываются.

Вдруг натыкаешься на авангардную метафору: «Люди в года молодые резвостью схожи с ртутью, что бегают в склянке». Это написано крестьянским сыном. Парадоксально, что и русский авангард рождался крестьянскими детьми — Заболоцким, Мельниковым, Татлиным, И. Леонидовым.

Все народы, малые и большие, уже давно овладевают мировой культурой. В декабре Геннадий Айги, чуваш, читал свои стихи в Малом зале парижского театра «Одеон». Свободно зная французский, переведя Бодлера, он соединил традиции своего народа с современным верлибром. Многим его старшим братьям далеко до его эрудиции.

Что касается нашего литовца, то он владел немецким, французским, древнееврейским, латынью. Считается, что на него влиял Гесиод. Мне думается, что не обошлось без Катона, Варрона и Плиния Старшего.

Донелайтис впервые заменил латынь смачным народным языком. Родилась поэзия. Как корчились ценители изящной словесности, читая «он наяривал», «я блевал», а то и похлестче! Заснеженные сосны поэт сравнивал с напудренными париками. Будучи на три года моложе Ломоносова, сколько поотряхал он пудры с иноземных париков!

Никому не удавалось создать поэзию на чужом языке, даже В. Набокову, явившему шедевры в иноязычной прозе. Только язык рождает поэзию нации, язык — это непосредственный переход к духовному. Языки сами дружат друг с другом, брачуются. В языковых глубинах таятся и общечеловеческие корни. Почему на стольких языках схоже звучит понятие «мать»? Так именно в языке таится то, что мы зовем «национальным» и «интернациональным».

Мы помним, как изысканный поэт Серебряного века Балтрушайтис, будучи по-

слов Литвы, спасал в 20-е годы российских интеллигентов. Наши писатели помогали гибнущей Ниде. Нидские дюны не один год нашептывают мне рифмы. В Дании и Голландии закон запрещает применять химические удобрения. Чтобы стать фермером, там надо иметь диплом об окончании сельскохозяйственного института. Полуграмотное тотальное пользование нитратами стало одной из причин того, что наша жизнь короче на 8 лет жизни среднего американца.

Балтийские страны объединяются в безъядерную зону. Почему бы им не образовать зону стран без нитратов?

На днях на моем крыльце постучались двое жителей близлежащего Солнцевского района. «Вот вы боретесь за Байкал, но поглядите, что в двух километрах творится!»

Вселившихся в сотысячный массив обманули. Их приглашали в зеленую зону, многие выехали ради больных детей, но после вселения под их окнами стали строить промышленные объекты, гигантский холодильник будет производить выбросы аммиака и фреона. Рядом строится газовая ТЭЦ. Власти темнят. Народ собирается на митинги, собраны тысячи подписей под письмами протеста. Соседство губительно для зеленеющих вблизи детских санаториев, туберкулезного и уникального пульманологического.

Горячие головы призывают солнцевцев в виде протеста отказаться от голосования и переписи. Думаю, наоборот, нужно выбрать тех, которые отстают жизнь и здоровье людей.

Об этом я говорил, когда выступал в поддержку Ю. Черниченко перед избирателями Солнцева. Бил метельный снег. Несмотря

на мокрые хлопья, тысячи людей стояли несколько часов, слушая, выкрикивая свое мнение. Выступавшие А. Адамович, Ю. Карякин, Ю. Афанасьев говорили с каменных ступеней лестницы Дворца культуры. Увы, во дворец народ не пустили. Власти предоставили его другому кандидату, зав. кафедрой марксизма,

и там в теплоте зала набралось несколько десятков его сторонников. Эта недемократичность сыграла против зав. кафедрой. Метельная замерзшая народная площадь хотела правды и проголосовала за Черниченко.

Последнее время некоторые теснимые временем писатели свою творческую несостоятельность восполняют бранью по адресу собратьев. «Но и меж птиц мошенников тоже немало», — вспоминается строка Донелайтиса. Юбилей поэта совпал с предвыборным писательским пленумом. Верится, что междоусобицы прекратятся, и писательская речь пойдет конкретно, крупно и духовно. «Со взглядом в небо».

ЧИТАЯ ДОНЕЛАЙТИСА

Воспевая силу злака,
неба, репы, пастернака,
что твердит нам Донелайтис?
— Да наладьтесь!

Поспешающим на пленум —
кто с удавкой, кто с поленом —
что сказал бы Донелайтис?
— Да не лайтесь!

Пусть играет пианино
дальновидного Литвина.
«До» — не «ля», как ни старайтесь...
Существует доминанта —
кладезь духа и таланта.
Для литовцев это кладезь —
Донелайтис.

ОТВЕТ МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый тов. А. Козырев! Спасибо вам, что вы прочитали мое интервью с фрагментами из книги «Ров» и обратились с письмом через газету. Отвечаю вам в тот же день, так как и меня мучают те же вопросы. Хотя могли бы и на домашний адрес написать. Рад видеть в вас единомышленника, который, цитируя, разделяет мое основное отношение к Н. С. Хрущеву: «Хрущев был нашей надеждой, его доклад на XX съезде — акт безоглядного риска и мужества... Главное, что после 56-го года были освобожденные люди...» Действительно, именно этими великими свершениями Н. С. Хрущев останется в истории.

Но вам не верится, что я реалистично описал во время его встречи с интеллигенцией «искаженное злобой лицо Н. С. Хрущева, который доверился наушникам и интриганам».

Давайте вместе с вами рассмотрим три фотографии этой встречи. Кстати, воздадим должное репортеру, который не испугался навести объектив на разъяренного Главу державы, как ни дрожал, наконец, объектив. Вглядитесь сами. Вот искаженное, вряд ли нежностью, лицо премьера, вот стакан, уроненный мною в растерянности на трибуне. Давайте мысленно поменяемся местами. Представьте, что вы, тов. Козырев, — поэт, вы беззаветно верите в преобразования, в гласность и наступающую демократию, что вы «вышли на трибуну и хотите рас-

сказать, как на духу, о положении в литературе, считая, что он все поймет». За вашей спиной президиум из соратников, выбранных им, вы еще не знаете, что это президиум будущей эпохи застоя. И вдруг вы слышите рев: «Господин Козырев, вон из нашей страны!» И вы так и не попросили у него прощения. Но дело не в наших с вами скромных персонах.

Думаю, что вы подпишитесь под моим ощущением: «Я потом долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды шестидесятых годов, мощный замах преобразований и купеческое самодурство».

Вы пишете, что глава государства «чувствовал в себе право на такой контакт с вами». Думаю, не только глава мировой державы, но и инструктор райкома вряд ли имеет право на такие контакты. Вы — объективист, вы сложили вырезку с программными статьями о Пастернаке вместе с моей статьей против этих погромов. Но неужели у вас не дрогнуло сердце о сложенной судьбе М. Хуциева, о санкционированной травле, гонениях на А. Яшина, автора известных «Рычагов», ведь его рак был следствием нервного стресса, неужели вы не почувствовали боль за судьбу В. Гроссмана, за молодых художников, растоптанных «контактами»? Не о великодушии я думаю, а о сострадании, неужели у вас за них не болела душа? В ответ на мою фразу, что Хрущев «тогда давал в политике задний ход и хвалил Сталина», вы безапелляционно заключаете: «Неправда это». И ссылаетесь на «Правду» с речью Хрущева, где он говорил якобы лишь об авторитете

Сталина — об авторитете палача, что ли? Увы, вы же знаете, в ту эпоху лести и антигласности половина слов его не попадала в газеты, как не попали в газету ни эти три фотографии, ни его моноло- ги против художников: «Вон из страны!» Сообщалось лишь о сердечности встреч? А разгром храмов в 60-х гг.

Впрочем, вот его опубликованное выска- зывание, когда он давал в политике зад- ний ход: «Как преданный ленинист-мар- ксист и стойкий революционер, Сталин займет видное место в истории». Этим он перечеркнул свой доклад на XX съезде. Вы почему-то не поддерживали выдвину- тое в моем интервью предложение о том, что доклад на XX съезде надо обнародо- вать. Это другая слабость Хрущева. Он не решился на гласность, он разрешил критиковать недостатки Сталина только себе и лишь в кругу высшей партийной элиты, не доверяя демократии. Поэт Б. Слуцкий, писавший антисталинские стихи, в результате травли попал в пси- хиатрическую больницу. В бреду он ви- дел редакционную статью «Правды» про- тив него и карикатуру. «Мнением наро- да» пользовались только для того, чтобы «по желанию трудящихся» уничтожить выплаты по облигациям займов. В этом трагизм великой фигуры Хрущева, преоб- разователя и борца за мир, который по- рой не мог победить в себе до конца сталиниста. Эренбург вспоминал слова Хрущева: «В вопросах искусства я стали- нист». P.S.

После телепередачи с Урмасом Оттом среди многих пришло и это письмо:
«Пишу Вам потому, что не дает покоя

сказанное Вами в телеинтервью, что Хрущев войдет в историю как «освободитель» репрессированных. Не может, не смеет он так войти в историю!

Кровавый палач, уничтоживший десятки тысяч людей, сумевший частично замести следы своих преступлений, на костях погибших сделавший карьеру и пришедший к власти, обхитривший и предавший посмертно своего главаря-покровителя (коему прежде лизал пятки), поправший затем (что было естественно ожидать) те «принципы», которые «провозгласил», а использовал лишь в качестве оружия в политической борьбе с тенью своего предшественника за влияние на массы — как он может войти в историю «освободителем». Давайте тогда славить Берию, освободившего тысячи и тысячи ежовских мучеников (они, кстати, тоже на него молились), да и Ежова — спасителя пленников Ягоды. Когда так рассуждают обыватели — это понятно. Но если так говорят мозговые клетки нации, если культура (и это не только цвет, это совесть нации) позволяет себе так ошибаться — какая же тогда надежда хоть на самую малую толику исторической правды? Да еще представитель ее светлейшей части, сам А. Вознесенский! Слышать от него такое — страдание... Все вместе мы создаем то, что теперь принято называть «сталинизмом». Вы не заметили «сталинушек» дорогих на Съезде депутатов? Их было гораздо больше, чем самоотверженных людей. И не сталиночки ли окружали Вас тогда, в Кремлевском зале, и потом, даже среди Ваших знакомых?..»

Уважаемая Екатерина Федоровна! (по желанию автора письма, опасющейся санкций, не пишу настоящее ее имя).

Может быть, Вы и правы, лишь потомки могут дать историческую объективную оценку госдеятелю. Мы не можем отрешиться от субъективизма, да и не надо — иначе будешь писать подконтрольно, сам себя цензурировать. Может быть, Вы и правы, но я не могу отрешиться от взгляда Льва Разгона, Н. И. Сухомлиной и тысяч тех, которые были освобождены после XX съезда. Какими бы Хрущев ни двигим был мотивами — люди были освобождены. Для меня это в нем главное. Хотя я и сам натерпелся от него. Как и слезинка ребенка, так и улыбка освобожденного для меня перевешивают многое. А потомки пусть судят объективно, главное в нем — доброе начало.

Ныне появилась ностальгическая тенденция сконструировать святочный портрет Н. С. Хрущева, Вы же ударяетесь в другую крайность. Важнее, думается, понять, какие черты и в его характере помешали нашему обществу демократизироваться в 60-е годы? Меня волнует наше сегодня и завтра, но как его понять без вчерашних уроков? Разве была бы сегодняшняя степень гласности без демократических процессов 60-х годов?

Да успокоится Ваше сердце.

Ваш А. В.

КРИСТАЛЛ И КРЕСТ КОМПОЗИТОРА

Я до головокружения люблю его 3-й концерт для фотепьяно с оркестром, с космическими вспышками в клавиатуре, люблю его фуги, когда он взлетает, нажимая на скоростные педали органа. Чего бы ни касался Родион Щедрин — он Великий Мастер. Он может быть одет в джинсовку, в водительскую кожанку, в литой костюм, костюм для виндсерфинга — все равно под этой суетной экипировкой просвечивает облегающая сильный торс прозодежда Мастера — консерваторский фрак, отливающий черным металлом, — звонкие латы Рыцаря искусства. И как рыцарь он сурово одинок. Композитор имеет дело с Духом в прямом виде, не через слово, не через краску, без посредников, напрямую — с космическим строем. И не в услаждении уха дело — в партитуре мировой гармонии. Музыка — это познание идеалистической основы нашего мира, материализованное в звуке.

Думаю, в этом историческая миссия его на нашей земле, в середине и конце XX столетия, на которые попадает земная жизнь композитора.

Среди обнаглевшего нынешнего дилетантизма, когда о весе художника судят по политической лихости — правые ли? левые ли? — по бойкости тостов на влиятельном застолье, по мишуре звезд на лацкане или по яркости галстука — Родион Щедрин хранитель Ордена профессионализма. Вся жизнь его до секунды посвящена искусству. Магический кристалл должен быть кристаллом, а не аморфной размазней — иначе магия не свершится. Он чувствует геометрию креста, на котором распят творец.

Познакомила нас Лиля Юрьевна Брик. Оказалось, что русский композитор в это время замыслил «Поэторию» по моим стихам. Куски стихов моих он монтировал так же коллажно, как потом стриг фрагменты Бизе для своей «Кармен-сюиты». Я мог бы повторить на память всю его

«Кармен-сюиту» с ее фантастическими «деревяшками». Каждый раз при беседах с М. Ростроповичем — в вашингтонском ли его «Уотергейте» или в парижской его дворцовой квартире, обязательно заходит речь о нем: «Как там Родик? Скажи Родиду...»

Как выжил он в годы так называемого застоя? Как сохранил свой Божий дар? Латы его профессионализма, как скорлупы раковины, сохранили, сконсервировали духовную сущность. Видимо, в мире музыкальном, закрытом, для официальных профанов, была загадка и недоступность. Музыку ограждала консерваторская кастовость. Ворошилов, игравший на гармошке, и Жданов, брэнчавший на фортепьяно, серьезную музыку не понимали, но с опаской относились к недоступному им мастерству «профессоров». Да и Д. Д. Шостакович, подписывая в газетах аллилуйную туфту, жертвуя гражданской репутацией, ограждал этим своих собратьев. Композиторов не сажали. Сам Д. Д. Шостакович, идя на компромисс с «малой совестью», был бескомпромиссен в «Большой совести» — в творчестве. За век до гласности я слышал, как шуршала бумага и разрывались в клочья доносы в партитуре щедринской «Бюрократиады».

Думаю, в Союзе писателей за подобную «Бюрократиаду» автора давно бы выслали за рубеж. Здесь же лишь поприжали. «Поэторию» нашу тоже постоянно не разрешали к исполнению. Великие палочки Г. Рождественского, Е. Светланова, Ю. Темирканова, И. Гусмана вопросительно замирали — разрешат? не разрешат? Помню, как при первом исполнении ее в Консерватории, разрешающий телефонный звонок последовал всего за несколько секунд до звонка в зрительном зале. Еще бы! Щедрин в «Поэторию» ввел церковные колокола, «Матерь Божию», хоры. Лет за 20 до разрешения торжеств тысячелетия Крещения Руси свел песнопение с конкретной музыкой, ввел впервые в консерваторский зал авангардную пожарную сирену — так что публика во время репетиции ринулась к выходу, считая, что случился пожар — а это, может быть, и было пожаром?

После эмиграции Эрнста Неизвестного имя его было запрещено, но Щедрин оставил стихи о нем в «Поэтории», дуря голову начальству, что речь идет о неизвестном лейтенанте Эрнсте. Публика все понимала. Бостонский фестиваль пригласил на исполнение Эрнста, как героя

«Поэтории».

Родион Щедрин на равных играет на двух роялях — с Чиком Кореа и с Николасом Эконому, во всем он учит нашу страну профессионализму. Если бы мы избежали дилетантизма в политике, в экономике! В профессионализме ныне спасение нашей страны.

Приглашенный в Бостон на «свой» фестиваль, он повез с собой всю «новую волну» от А. Шнитке до С. Губайдулиной. Щедрин — прежде всего человек Цеха, цехового Ордена. Он помог пробиванию рок-оперы «Юнона и Авось». Его боготворят оркестранты и хористы. С уважением говорит о нем А. Шнитке. В тяжелые дни, когда имя мое было не принято упоминать, он демонстративно процитировал мои стихи в съездовском докладе.

Поэтому, когда — опять еще в так называемые застойные годы — в Союзе композиторов был выборный бунт, словно предвещающая тайный выборный взрыв в нашей стране, композиторы России, свалив своих консерваторов, выбрали лидером Р. Щедрина.

Лидерство в характере его. Помню, как, бешено бледнея, шепча нецензурные молитвы, Родион готов был убить и меня, и Темирканова за малейшее отклонение от его секундных долей.

В жизни он тоже профессионал — в рыбной ловле, в вождении «Мерседеса». Он меня поставил на водные лыжи, превратив зыбкую волну в спрессованный кристаллический наст.

В воле, подвижничестве — это сильный пример для всех нас. И в отрешенном одиночестве своем.

От древних «крюков» до современной концертной музыки мощная тема России — главная для него. Но свет этой

темы нельзя запечатлеть в дилетантских
всхлипах, нужен кристалл магический.
Им и владеет Родион Щедрин.
Когда-то ему пришлось по душе стихи —
я их посвятил ему.

В воротничке я, как рассыльный
среди кривляк.
Но по ночам я — пес России
о двух крылах.

С обрывком галстучка на вые,
и дыбом шерсть,
и дыбом крылья огневые.
Врагов не счесть.

А ты меня шерстишь и любишь.
Когда ж грустишь,
рассказываешь мне, что людям
не сообщишь.

В мурло уткнешься меховое
в репьях, в шипах.
И слезы общею звездой
в шерсти шипят.

И неминуемо минуем
твою беду
в неименуемо немую
минуту ту.

А утром я свищу насильно.
Но мой язык —
что слезы слизывал России
чей светел
лик.

А
К
С
И
О
М
А
А
М
О
И
С
К
А
А
К
С
И
О
М
А
С
А
М
О
И
С
К
А

Оглянись
вперед

Георгию Адамóвичу

(надпись на книге)

**Обдираючи аденоиды,
состраданием ночь омоючи,
в час всемирного одиночества
прокричу стихи Адамовичу...**

Нью-Йорк — 1972 г.

+ + +

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

1973

+++

В. Шкловскому

— Мама, кто там вверху, голенастенький —
руки в стороны — и парит?

— Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

1972

Вечер в «Обществе слепых»

Милые мои слепые,
слепые поводыри,
меня по своей России,
невидимой, повели.

Зеленая, голубая,
розовая на вид,
она, их остерегая,
плачет, скрипит, кричит.

Прозрейте, товарищ зрячий,
у озера в стоке вод.
Вы слышите — оно плачет?
А вы говорите — цветет.

Чернеют очки слепые,
отрезанный мир зовут —
как ветви живьем спилили,
следы окрасив в мазут.

Скажу я вам — цвет ореховый,
вы скажете — гул ореха.
Я говорю — зеркало,
вы говорите — эхо.

Вам кажется Паганини
красивейшим из красавцев,
Сильвана же Помпанини —
сиплая каракатица,
вам пудреница покажется
эмалевой панагией.

Пытаться читать стихи
в обществе слепых —
пытаться скрывать грехи
в обществе святых.

Плевать им на куртку кожаную,
на показах рук,
они не прощают кожею
наглый и лживый звук.

И дело не в рифмах бедных —
они хорошо трещат,—
но пахнут, чем вы обедали,
а надо петь натошак!

И в вашем слепом обществе,
всевиद्याщем, как Вишну,
вскричу, добредя ощупью:
вижу!

зеленое зеленое зеленое
заплакало заплакало заплакало
зеркало зеркало зеркало
эхо эхо эхо

1974

Рублевское шоссе

**Мимо санатория
реют мотороллеры.**

**За рулем влюбленные —
как ангелы рублевские.**

**Фреской Благовещенья,
резкой белизной
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!**

**Их одежда плещет,
рвется от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.**

**Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?**

**Осень. Небеса.
Красные леса.**

1961

Две песни

I. ОН

**Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волоса твои распущенные
шептал первые слова.**

**Та же Ялта полутемная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо мое смятенное
шепчет первые слова.**

**А потом лицом в коленки
белокурые свои
намотает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.**

**Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца черные, агатовые
и гадала на агат!**

**И печальница другая
усмехается, как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».**

**В этом золоте и черни
есть смущенные черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.**

Оправдались суеверия.
По бокам моим встет
горестная артиллерия —
ангел черный, ангел белая —
перелет и недолет!

Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далекого,
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамины
рядом с ненавистью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
черная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твое «до завтра».
До завтра б досуществовать!

II. ОНА

Волосы до полу, черная масть —
мать.
Дождь белокурый, застенчивый в дрожь —
дочь.

«Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю ночь,
дочь».
«В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать».
«Я — его первая женщина, вернулся до ласки охоч,
дочь».

**«Он – мой первый мужчина, вчера я боялась сказать,
мать».**

«Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь, прочь!..»

.

**«Это о смерти его телеграмма,
мама!..»**

1971

Замерли

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965

Баллада яблоня

В. Катаеву

**Говорила биолог,
 молодая и зяблая,—
это летчик Володя
 целовал меня в яблонях.
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков,
он на яблоню выплеснул
 свою чистую
 кровь!**

Яблоня ахнула,
это был первый стон яблони,
по ней пробежала дрожь
негодования и восторга,
была пора завязей,
когда чудо зарождения,
высвобождаясь из тычинок,
пестиков,
ресниц,
разминается в воздухе.
Дальше ничего не помню.

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
Телу яблоневу от тебя тяжелеть.
Как ревную я к стонущему стволу.
Ночью нож занесу, но бессильно стою —
на меня, точно фары из гаража,
мчатся
яблоневые глаза!

Их 19.

Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.
Они раздвигают кожу, как дупла.

Другие восемь узко растут из листьев.
В них ненависть, боль, недоумение —
что? что?
что свершается под корой?
кожу жжет тебе известь? кружит тебя кровь?
Дегтем, дегтем тебя мазать бы, а не известью,
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе
как
соседки в белых передниках. Ишь...

Так сидит старшеклассница меж подружек,
бледна,
чем полна большеглазо — не расскажет она.
Похудевшая тайна. Что же произошло?
Пахнут ночи миндально. Невозможно светло.
Или тигр-людоед так тоскует, багров.
Нас зовет к невозможнейшему любовь!
А бывает, проснешься — в тебе звездопад,
тополиные мысли и листья шумят.

По генетике у меня четверка была.
Люди — это память наследственности.
В нас, как муравьи в банке,
напиханно шевелятся тысячелетия,
у меня в пятке щекочет Людовик XIV.
Но это?..
Чтобы память нервов мешалась с хлорофиллами?
Или это биочудо? Где живут дево-деревья?
Как женщины пахнут яблоком!..

...А 30-го стало ей невмоготу.
Ночью сбросила кожу, открыв наготу,
врыта в почву по пояс, смертельно орет
и зовет
удаляющийся
самолет.

+ + +

**Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит, полоска света,
прищемленная дверьми!**

1976

Повесть

**Он вышел в сад. Смеркался час.
Усадьба в сумраке белела,
смущая душу, словно часть
незагорелая у тела.**

**А за самим особняком
пристройка помнилась неясно.
Он двери отворил пинком.
Напарил ключ и засмеялся.**

**За дверью матовой светло.
Тогда здесь спальня находилась.
Она отставила шитье
и ничему не удивилась.**

1972

Морозный ипподром

В. Аксенову

Табуном рванулись трибуны к стартам.
В центре — лошади,

 вкопанные в наст.

Ты думаешь, Вася,

 мы на них ставим?

Они, кобылы, поставили на нас.

На меня поставила вороная иноходь.

Яблоки по крупу — ё-мое...

Умеет крупно конюшню вынюхать.

Беру все финиши, а выигрыш — ее.

Королю кажется, что он правит.

Людам кажется, что им — они.

Природа и роци на нас поставили.

А мы — гони!

Колдуют лошади, они шепочут.

К столбу Ханурик примерз цепочкой.

Все-таки 43°...

Птица замерзла в воздухе, как елочная игрушка.

Мрак, надвигаясь с востока, замерз посредине

 неба, как шторка

у испорченного фотоаппарата.

А у нас в Переделкине, в Доме творчества,

 были открыты 16 форточек.

Около каждой стоял круглый плотный комок

 комнатного воздуха.

Он состоял из сонного дыхания, перегара,
тяжелых идей.
Некоторые заклопывают форточки марлей,
чтобы идеи не вылетали из комнаты,
как мухи.
У тех воздух свисал тугой и плотный,
как творог в тряпочке...

Свистят Ханурику.
Но кто свистит?
Свисток считает, что он свистит.
Мильтон считает, что он свистит.
Закон считает, что он свистит.

Планета кружится в свистке горошины,
но в чьей свистульке? Кто свищет? Глядь —
упал Ханурик. Хохочут лошади —
кобыла Дунька, Судьба, конь Блед.

Хохочут лошади.
Их стоны жутки:
«Давай, очкарик! Нажми, Андрей!»
Их головы покачиваются,
как на парашютиках,
на паре, выброшенном из ноздрей.
Понятно, мгновенно замерзшем.
Все-таки 45°...
У ворот ипподрома лежал Ханурик.
Он лежал навзничь. Слева — еще пять.
Над его круглым ртом,
короткая, как вертикальный штопор,
открытый из перочинного ножа, стояла
замерзшая Душа.
Она была похожа на поставленную торчком
винтообразную сосульку.
Видно, испарялась по спирали,
да так и замерзла.

И как, бывает, в сосульку вмерзает листик или
веточка,
внутри ее вмерзло доказательство добрых
дел,
взятое с собой. Это был отрывок доноса
на соседа.

Над соседними тоже стояли Души, как пустые
бутылки.

Между тел бродил Ангел.
Он был одет в сатиновый халат
подметальщика.

Он собирал Души, как порожные бутылки.
Внимательно
проводил пальцем — нет ли зазубрин.
Бракованные скорбно откидывал через плечо.
Когда он отходил, на снегу оставались
отпечатки следов с подковками...

...А лошади Ангел — в дыму морозном
ноги растворились,
как в азотной кислоте,
шейку шаловливо отогнула, как полозья,
сама, как саночки, скользит на животе!..

1967

+ + +

**Где Ваша могила — хотя бы холм,—
Всеволод Эмильевич Мейерхольд?**

**Радость открывающий мореход —
Всеволод Эмильевич Мейерхольд.**

**Профильным, провидческим плоск лицом —
сплюснен историческим колесом.**

**Ставили «Отелло». Реквизит —
на зеленой сцене платок лежит.**

**Яги ухмыляются под хмельком:
«Снова мерихлюндии, Мейерхольд?!»**

**Скомканный платочек — от слез сырой...
Всеволод... Эмильевич... Мейерхольд...**

1974

+ + +

**Суздальская Богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!**

**Дай мне
билет,
куда не допускают
после шестнадцати...**

Невмоготу понимать все.

1968

+ + +

Ну почему он столько раз про ос,
сосущих ось земную, произносит?
Он, не осознавая, произнес:
«Ося...»

Поэты любят имя повторять —
«Сергей», «Владимир» — сквозь земную осыпь.
Он имя позабыл, что он хотел сказать.
Он по себе вздохнул за тысячу лет назад:
«Ох, Осип...»

1982

Хулы и награды

**Поэт не имеет опалы,
спокоен к награде любой.
Звезда не имеет оправы
ни черной, ни золотой.**

**Звезду не убить каменюгами,
ни точным прицелом наград.
Он примет удар камер-юнкерства,
посетует, что маловат.**

**Бажны не хула или слава,
а есть в нем музыка иль нет.
Опальны земные державы,
когда отвернется поэт.**

1978

Стрела в стене

**Тамбовский волк тебе товарищ
и друг,
когда ты со стены срываешь
подаренный пенджабский лук!**

**Как в ГУМе отмеряют ситец,
с плеча откинется рука,
Стрела задышит, не насытись,
как продолжение соска.**

**С какою женственностью лютой
в стене засажена стрела —
в чужие стены и уюты.
Как в этом женщина была!**

**Стрела — в стене каркасной стройки,
во всем, что в силе и в цене.
Вы думали — век электроники?
Стрела в стене.**

**Горите, судьбы и державы!
Стрела в стене.
Тебе от слез не удержаться
наедине, наедине**

**над украшательскими нишами,
как шах семье,
ультимативно нищая
стрела в стене!**

Шахуй, оторва белокурая!
И я скажу:
«У, олимпийка!» И подумаю:
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка,— добавлю,— скифка...»
Ты скажешь: «Фиг-то»...

1968 г.

+ + +

Отдай тетивка сыромятная,
найтишайшую из стрел
так тихо и невероятно,
как тайный ангел отлетел.

На людях мы едва знакомы,
но это тянется года.
И под моим высотным домом
проходит темная вода.

Глубинная струя влечения.
Печали светлая струя.
Высокая стена прощенья.
И боли четкая стрела.

1968

**Что же коленки мои ослабли?
Не останавливали пока
ни телефонные Ярославны,
ни бесноватые слезы царька.**

**Или же заводи и речешник
вышли дорогу не уступать,
вынесли
плачущий
Образ Пречистый
чтоб я опомнился, супостат?**

**Будьте бобры, мои годы и долы,
не для печали, а для борьбы,
встречные
плакальщики
укора,
будьте бобры, будьте бобры!**

**Непреступаемая для поступи,
непреступаемая стезя,
непреступаемая — о господи! —
непреступаемая слеза...**

**Я его крыл. Я дубасил палкой.
Я повернулся назад в сердцах.
Но за спиной моей новый плакал —
непроходимый другой в слезах.**

1972

Баллада-диссертация

**Вчера мой доктор прознес:
«Талант в вас, может, и возможен,
но ваш паяльник обморожен,
не суйтесь из дому в мороз».**

О нос!..

**Неотвратимы, как часы,
у нас, у вас, у капуцинов
по всем
 законам
 медицины
торжественно растут носы!**

**Они растут среди ночи
у всех сограждан знаменитых,
у сторожей,
 у замминистров,
сопя бессонно, как сычи,
они прохладны и косы,
их бьют боксеры,
 щемят двери,
но в скважины, подобно дрели,
соседак ввинчены носы!**

**(Их роль с мистической тревогой
интуитивно чужал Гоголь.)
Мой друг Букашкин пьяны были,
им снился сон:**

подобно шпилью,

сбивая люстры и тазы,
пронзая потолки разбуженные,
над ним
 рос
 нос,
 как щеки в булочной,
нанизывая этажи!

«К чему б?» — гадал он поутру.
Сказал я: «К Страшному суду.
К ревизии кредитных дел!»

30-го Букашкин сел.

О, вечный двигатель носов!
Носы длиннее — жизнь короче.
На бледных лицах среди ночи,
как коршун или же насос,
нас всех высасывает нос,

и, говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа...

но это нам не привилось.

1963

Из «Озы»

**Аве, Оза. Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание Твое.
Аве, Оза...**

**Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь — великая боязнь?
Аве, Оза...**

**Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза...**

**Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...**

**Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же — светлый. Пусть тебе светло.**

**Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не беспокою.
Даже жизнью не отягощу.**

Аве, Оза...

+++

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая, изменяли очертания, как лампочки иллюминации на Центральном телеграфе.

Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем же.

И нос был на месте, только вставлен внутрь, точно полый чехол кинжала. Неумещающийся кончик торчал из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера, зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами. Они чуть погромыхивали от ветра, вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный сноп прожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины.

Из трех облачков шел дождь. Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх.)

Ну и рокировка! На место ладьи генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого. На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За социалистической революцией следовало нашествие Батыя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику. Их разбирали и собирали. Выходили обновленными.

У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларинголога.

Счастливи́чик,—утешали его.—Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одно-временно».

А эта требовала жалобную книгу. «Сердце забыли положить, сердце!» Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно. Экспериментчик Ъ пел, пританцовывая.

«Е9-Д4,— бормотал экспериментчик.— О таинство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить Систему. К чему поэзия? Будут роботы. Психика — это комбинация аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе Австрийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум сохранял полный порядок. 16 его членов сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новым победам!» — призывал докладчик. Все соглашались.

Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новым победам!») торчала вверх на манер десяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалипсический знак, горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!» Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над, а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

+++

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И неважно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне. Кто-то сдуру воткнул на приморской набережной два ртутных фонаря. Мы идем навстречу. Ты от одного, я от другого. Два света бьют нам в спину.

И прежде, чем встречаются наши руки, сливаются наши тени — живые, теплые, окруженные мертвой белизной. Мне кажется, что ты все время идешь навстречу!

Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами прошлое, как рюкзак, за тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы. Как ты страдаешь от пережитков будущего! Ты резка, искрення. Ты поразительно невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться и наступать. «Наполеон,— говорю я,— был выдающийся государственный деятель». Ты отвечаешь: «Посмотрим!»

Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес»,— говоришь ты. У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у тебя из левой туфельки не вытряхнулась сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не носят. «Еще не носят», — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты никогда не разглядела майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне. Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то ерзаешь. «Ну, что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь, как на иностранном языке: «Я получила большое эстетическое удовольствие!

А раньше я тебя боялась... А о чем ты думаешь?..»

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

1964

+ + +

В час отлива возле чайной

я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям об Озе и величье бытия,
но внезапно черный ворон

примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,

он сказал:

«А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,

человеком вам родиться б,

счастье высшее трудиться,

полпланеты раскроя...»

Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты,— великий ментор,

бог машин, экспериментов,

будешь бронзой монументов

знаменит во все края...»

Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,

тыстроишь агрегатов,

демократией заменишь

короля и холоуя...»

Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь

спать в заброшенной избушке,

утром пальчики девичьи

будут класть на губы вишни,

глушь такая, что не слышна

ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Все — мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина — без руля...
Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...
Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
что живем, не чтоб подохнуть,—
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!
Чудо жить — необъяснимо.
Кто не жил — что спорить с ними?!
Можно бы — да на фига?

1964

Гитара

Б. Ожуджаве

**К нам забредал Булат
под небо наших хижин
костлявый как бурлак
он молод был и хищен**

**и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях**

**она была смирей
чем в таинстве дикарь
и темный город в ней
гудел и затихал**

**а то как в реве цирка
вся не в своем уме —
горящим мотоциклом
носилась по стене!**

**мы — дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь
среди ночных фигур
ты губы морщишь едко**

**к ним как бикфордов шнур
крадется сигаретка**

1960

Париж без рифм

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»

И вдруг —

город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали
прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров,
висели комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати,
вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму
чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной
трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в соборе Парижской богородицы шла месса,

как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки
почему-то парил над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»,
над Лувром из постаментов,
как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
все тикало,
о Париж,
мир паутинок, антенн и оголенных
проводачек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой пленочкой,
Париж
(на месте грудного кармашка, вертикальная,
как рыбка
плыла бритва фирмы «Жиллет»)!

Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью.

Париж,
в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,
Париж — горячая вода,

Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
они смущенно обнюхивались,

они могли перелиться одна в другую,
как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,
шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных
клетках,
свистали мысли,

монахиню смущали мохнатые мужские
видения,
президент мужского клуба потрясая
разоблачениями

(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),
над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл пшнцель над певцом мансард,
в башке ОАСа оголтелой

дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,

наш милый Сартр,
задумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств

мудрый дух
в соломинку,

как стеклодув,
он выдул эти фонари,
весь полый город изнутри,
и ратуши и бюшери,
как радужные пузыри!

Я тормошу его:

«Мой Сартр,
мой сад, от зим не застекленный,
зачем с такой незащищенностью
шары мгновенные
летят?

Как страшно все обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжет, как рашпиль,
Мой Сартр!

Вдруг все обречено?!»
Молчит кузнечик на листке
с безумной мукой на лице.

Било три...

Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме
женщина усмехнулась. саксофона,
«Стриптиз так стриптиз»,—
сказала женщина,
и она стала сдирать с себя не платье, нет,—
кожу! —
как снимают чулки или трикотажные
тренировочные костюмы.

— О!о! —
последнее, что я помню, это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном, орущем, огненном лице...

«...Мой друг, растает ваш гляссе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты
в белых племах,
как дьяволы в ночных горшках.

1963

+ + +

Сложи атлас, школярка шалая,—
мне шутить с тобою легко,—
чтоб Восточное полушарие
на Западное легло.

Совместятся горы и воды,
колокольный Великий Иван,
будто в ножны, войдет в колодец,
из которого пил Магеллан.

Как две раковины, стадионы,
мексиканский и Лужники,
сложат каменные ладони
в аплодирующие хлопки.

Вот зачем эти люди и зданья
не умеют унять тоски —
доски, вырванные с гвоздями
от какой-то иной доски.

А когда я чуть захмелею
и прошвыриваюсь на канал,
с неба колют верхушками ели,
чтобы плечи не подымал.

Я нашел отпечаток шины
на ванкуверской мостовой
перевернутой нашей машины,
что разбилась под Алма-Атой.

**И висят, как летучие мыши,
надо мною вниз головой —
времена, домишки и мысли,
где жила и мы с тобой.**

**Нам рукою помажет хиппи.
Вспыхнет пуговкою обшлаг.
Из плеча — как черная скрипка
крикнет гамлетовский рукав.**

1971

+ + +

Неужто это будет все забыто —
как свет за Апенниннами погас:
людские государства и события,
и божество, что пело в нас,
и нежный шрамик от аппендицита
из черточки и точечек с боков —
как знак процента жизни ненасытной,
небытия невнятных языков?..

1978

+ + +

Памяти Б. и С.

**Эх, Россия!
Все впотьмах.
Пахнет псиной
в небесах.**

**Мимо марсов, днепрогэсов,
мачт, антенн, фабричных труб
страшным спутником
Прогресса
носятся собачий
труп.**

1959 г.

Футбольное

Левый крайний!

**Самый тощий в душевой,
самый страшный на штрафной,
бито стекло — боже мой!**

И гераней...

**Нынче пулей меж тузов,
блещет попкой из трусов
левый крайний.**

**Левый шпарит, левый лупит.
Стадион нагнулся лупой,
прожигательным стеклом
над дымящимся мячом.**

**Правый край спешит заслоном,
он сипит, как сто сифонов,
ста медалями увенчан,
стольким ноги поувечил.**

**Левый крайний, милый мой,
ты играешь головой!**

**О, атака до угара!
Одурение удара.
Только мяч,**

**мяч,
мяч,**

только — вмажь,
 вмажь,
 вмажь!

«Наши — ваши» — к богу в рай...
Ай!
Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах,
Солнце черной сковородкой.
Ты уходишь, как горбун,
под молчание трибун.

Левый крайний...

Не сбываются мечты,
с ног срезаются мячи.
И под краном
ты повинный чубчик мочишь,
ты горюешь
 и бормочешь:
«А ударчик — самый сок,
прямо в верхний уголок!»

1962

Кумир

**Великий хоккеист работает могильщиком.
Ах, водка-матушка,
ищи меня на дне...
Когда он в телевизорах
магичесствовал,
убийства прекращались по стране.**

**Он был капризный принц
Олимпа и Сабены,
а после тридцати
он так застрессовал
наедине с забвеньем —
не дай вам бог перенести!**

**Он понял что-то
выше травм и грамот.
Над ямой он обтер
бутылку и батон.
Познал бы истину,
когда б работал Гамлет
сначала Йориком, могильщиком — потом.
«Ляжем — сравняемся»,—
он говорил девочкам.
«Ляжем — сравняемся»,—
он оборвет меня.
Не в голубой конек —
в глубинную лопату
врезается ступня.
Ляжем — сравняемся —
кумиры и селяне,
ляжем — сравняемся —**

**народы и леса,
в великой темноте в неназванном сиянье
ляжем — сравниемся.**

**Там побежденному стал победитель равен,
там, бывшие людьми,
безмолвные глядят —
взгляд клена, взгляд звезды и придорожный
камень.**

**Потом и камня нет.
Остался только взгляд.**

**Он погружается, дымя сигаркой в вечность.
Кто не спшибал верхов, тот не познал глубин.
Он погружается
по пояс, грудь, по плечи.
Прямоугольный мрак.
Живой дымок над ним.**

**Сограждане!
Над ним не надо зубоскалить.
Рублевые цветы
воруя с похорон,
надежда падшая
за вас подымет шкалик —
наш падший чемпион.**

1975

Фрагмент автопортрета

(мотивы Микеланджело)

Я нищая падаль. Я пища для морга
Мне душно, как джину в бутылке прогорклой,
как в тьме позвоночника костному мозгу!

В камерке моей, как в гробнице промозглой,
Арахна свивает свою паутину.
Моя дольче вита пропахла помойкой.

Я слышу — об стену журчит мочевина.
Угрюмый гигант из священного планга
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.

Полно во дворе человеческого плака.
Дерьмо каменеет, как главы соборные.
Избыток дерьма в этом мире, однако.

Я вам не общественная уборная!
Горд вашим доверьем. Но я же не урна...
Судьба моя скромная и убогая.

Теперь опишу мою внешность с натуры,
Ужасен мой лик, бороденка — как щетка.
Зубарики пляшут, как клавиатура.

К тому же я глохну. А в глотке щекотно!
Паук заселил мое левое ухо,
а в правом сверчок верещит, как трещотка.

Мой голос жужжит, как под склянку муха.
Из нижнего горла, архангельски гуляя,
не вырвется fuga плененного духа.

Где синие очи? Повыщвели буркалы.
Но если серьезно — я рад, что горюю,
я рад, что одет, как воронее пугало.

Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь.
Сейчас оплеуха милей поцелуя.

Дешев парадокс — но я радуюсь, мучась.
Верней, нахожу наслаждение в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ.

Пусть пуст кошелек мой. Какие детали!
Зато в мочевом музыре, как монеты,
три камня торжественно забренчали.

Мои мадригалы, мои триолеты
послужат оберткою в бакалее
и станут бумагою туалетной.

Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
К иным поколениям взвивал свой треножник?!
Все прах и тщета. В нищете околею.
Таков твой итог, досточтимый художник.

«Кому на Руси жить плохо!»

— Кому жить плохо на Руси?

— Спроси!

— Колхозник, как надои кукурузы?

Колхозник: «Соловьи в ей свищут, как Карузы».

— Бабуся, а к тебе судьба добра ли?

Бабуся: «Спасибо, что козу не отобрали».

— Рабочий, с НТР условия легче стали?

Рабочий: «Легче выносить микродетали».

— Красотки, как мужик при полноте достатка?

Красотки: «Хорош, как к телевизору приставка».

— Писатели, что в вашем околотке?

Писатели: «Грызет друг другу глотки»

— Телятницы, а как приплод телятины?

Телятницы: «Зато поем талантливо!»

— А вы, солисты ГАБТ и телерадио?

Солисты: «Чистим на субботнике телятники».

— Профессор, как культура права?

Профессор: «Хиляем, нахалюги, на халяву».

— Христос, а ты доволен ли судьбою?
Христос: «С гвоздями перебои».

— Россия, что еще народу хочется?
Россия: «Когда же это кончится?..»

1980

НТР

**Моя бабушка — староверка,
но она —
научно-техническая революционерка.
Кормит гормонами кабана.**

**Научно-технические коровы
следят за Харламовым и Петровым,
и, прикрываясь ночным покровом,
сексуал-революционерка Сударкина,
в сердце,**

**как в трусики-безразмерки,
умещающая пол-Краснодара,
подрывает основы
семьи,
частной собственности
и государства.**

**Научно-технические обмены
отменны.**

**Посылаем Терпсихору —
получаем «Пепси-колу».**

**И все-таки это есть Революция —
в умах, в быту и в народах целых.
К двенадцати стрелки часов крадутся —
но мы носим кварцевые, без стрелок!**

**Я — попутчик
научно-технической революции.
При всем уважении к коромыслам
хочу, чтобы в самой дыре завалющей
был водопровод
и свобода мысли.**

**За это я стану на горло песне,
устану —**

товарищи поддержат за горло.

**Но певчее горло с дыхательным вместе —
живу, не дыша от счастья и горя.**

**Скажу, вырываясь из тисков стишка,
тем горлом, которым дышу и пою:
«Да здравствует Научно-техническая,
перерастающая в Духовную!»**

**Революция в опасности! Нужны меры.
Она саботажникам не по нутру.
Научно-технические контрреволюционеры
не едят синтетическую икру.**

1973

Диалог

- Итак,
в прошедшем поэт, в настоящем просящий суда,
свидетель себя и мира в 60-е года?
- Да!
- Клянетесь ответственать правду в ответ?
- Да.
- Живя на огромной, счастливейшей из планет,
песчиночке из моего решета...
- Да.
- ...вы производили свой эксперимент?
- Да.
- Любили вы петь и считали, что музыка —
ваша звезда?
- Да.
- Имели вы слух или голос и знали хотя бы
предмет?
- Нет.
- Вы знали ли женщину с узкою трубочкой рта?
И дом с фонарем отражался в пруду, как
бубновый валет?
- Нет.
- Все виски просила без соды и льда?
- Нет, нет, нет!
- Бы жизнь ей вручили. Где женщина та?
- Нет.
- Вы все испытали — монаршая милость,
политика, деньги, нужда,
все только бы песни увидели свет,
дешевую славу с такою доплатою вслед!
- Да.
- И все ж, мой отличник, познания ваши на «2»?

- Да.
- Хотели пустыни — а шли в города,
смирили ль гордыню, став модой газет?
- Нет.
- Вы были ль у цели, когда стадионы ревели
вам «Дай»!
- Нет.
- В стихах все — вопросы, в них только
и есть что вреда,
производительность труда
падает, читая сей бред?
- Да.
- И все же вы верите в некий просвет?
- Да.
- Ну, мальчики, может,
ну, девочки, может...
Но сникнут под ношею лет.
- Друзья же подались в искусство «дада»?
- Кто да.
- Все — белиберда,
в вас нет смысла, поэт!
- Да, если нет.
- Вы дали ли счастье той женщине, для
которой трудились, чей образ воспет?
- Да,
то есть нет.
- Глухарь стихотворный, напаявший джинсы,
поешь, наступая на горло собственной жизни?
Вернешься домой — дома стонет беда?
- Да.
- Хотел ли свободы парижский Конвент?
Преступностью ль стала его правота?
- Да.
- На вашей земле холода, холода,
такие пространства, хоть крикни — все сходит
на нет?..
- Да.

— Вы лбом прошибали из тьмы ворота,
а за воротами — опять темнота?

— Да.

— Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо,
случится беда.

Вам жаль ваше тело? ну ладно,

Но маму, но тайну оставшихся лет?

— Да.

— Да?

— Нет.

— ?..

— Нет.

— Итак, продолжаете эксперимент? Айда!

Обрыдла мне исповедь,

вы — сумасшедший, лжеидол, балда, паразит!

Идете витийствовать? зло поразить? или простить?

Так в чем же есть истина? В «да» или в «нет»?

Спросить.

В ответы не втиснуты

судьбы и слезы.

В вопросе и истина.

Поэты — вопросы.

Ностальгия по настоящему

**Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.**

**Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоящему —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.**

**Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.**

**Нас с тобой никто не расколет,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.**

**Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья — подлинника,
по нему грущу, настоящему.**

**Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по-настоящему.**

Все из пластика — даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

1975

+ + +

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербургской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь —
он истой интеллигенции
указующий в небо перст.

**Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.**

**Какое призвание лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»**

1975

Смерть Шукшина

**Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила страна мужика
и активную совесть.**

**Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивленную смерть
предсказал всенародно в картине.**

**В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришел и простился.**

**Он сегодняшним дням — как двойник.
Когда зябко курил он чинарик,
так же зябла, подняв воротник,
вся страна в поездах и на нарах.**

**Он хозяйственно понимал
край как дом — где березы и хвойники.
Занавесить бы черным Байкал,
словно зеркало в доме покойника.**

1975

Синий журнал

В. Быкову

**Цвет новомировский,
с отсветом в хмарь —
неба нормированный
почтарь!**

**В ящик проглянет
неба прищур
этих без глянца
синих брошюр.**

**Метростарушка,
в лифте чудак
небом наружу
станут читать.**

**Не изменили
не отцвели,
цвет новомировский,—
читатели!**

**Цвет новомировский,
авторов цвет...
Жизни активированы.
Многих уж нет.**

**Все по России
носит почтарь
порции синего
с отсветом в хмарь.**

**Интеллигенция
встанет моя,
зябнув коленцами
после спанья.**

**Синей обложкой
внутри завернет,
будто из неба
сложив бутерброд.**

**В спешке кухонной
станем с тобой
пищей духовной,
пищей богов.**

1980

Не забудь

**Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.**

**Человек надел пиджак,
на пиджак нагрудный знак
под названием «ГТО».**

**Сверху он надел пальто.
На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.**

**Сверху он надел гараж
(тесноватый — но как раз!),
сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху он надел жену,
и вдобавок — не одну,
сверху весь микрорайон,
область надевает он.**

**Опоясался как рыцарь
государственной границей.**

**И, качая головой,
надеват шар земной.**

**Черный космос натянул,
крепко звезды застегнул,
Млечный Путь — через плечо,
сверху — кое-что еще...**

Человек глядит вокруг.

Вдруг —

**у созвездия Весы
вспомнил, что забыл часы.**

**(Где-то тикают они,
позабытые, одни?..)**

**Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без Времени — ничто.**

**Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»**

1975

Пир

**Человек явился в лес,
всем принес деликатес:**

**лягушонку
дал сгущенку,**

**дал ежу,
что — не скажу,**

**а единственному волку
дал охотничью водку,**

**налил окуню в пруды
мандариновой воды.**

**Звери вежливо ответили:
«Мы еды твоей отведали.
Чтоб такое есть и пить,
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим,
хочешь, мы тебя съедем?»**

**Человек сказал в ответ:
«Нет.
Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.
Я пропитан алкоголем,
аллохолом, аспирином.**

**Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.
Я глотаю утром водку,
следом тассовскую сводку,
две тарелки, две газеты,
две магнитные кассеты,
и коллегу по работе,
и два яблока в компоте,
опыленных ДДТ,
и т. д.**

**Плюс сидит в печенках враг,
курит импортный табак.
В час четыре сигареты.
Это убивает в день
сорок тысяч лошадей.**

**Вы хотите никотин?
Все сказали: «Не хотим,
жаль тебя. Ты — вредный, скушный:
если хочешь — ты нас скушай».**

**Человек не рассердился
и, подумав, согласился.**

1975

Песчаный человечек

**Человек бежит песчаный
по дороженьке печальной.**

**На плечах красиво спита
майка в дырочках, как сито.**

**Не беги, теряя вес,
можешь высыпаться весь!**

**Но не слышит человек,
продолжает быстрый бег.**

**Пробегают по Москве —
остается: «ЧЕЛОВЕ...».**

**Где ты, Детское село?
Остается лишь: «ЧЕЛЮ...».**

**Майка виснет на плече:
остается только: «ЧЕ...».**

.

**Человечка нет печального.
Есть дороженька песчаная...**

1975

Голубой погубай

К нам вселился
голубой погубай.
Искупался под струей,
покупай.
Всех обидел голубой
обругай.
Наряжается, как площадь Пигаль.
Ночью кашляет, как бабаягай.

Был по телеку художник Хукасай —
его имя переврал хулигай.
Хулигай, хулигай,
сам дурак — не покупай.

Он как трубка телефонная
висит,
целый день — не прозвонишься,
говорит,
он с Австралией подсоединен,
вечно занят голубой телефон.

Что ты ищешься у гостя в голове,
может, мысль какую сыщешь или две?
Тебя били, хулигай. Ты все одно,
говоришь: «Ищу жемчужное зерно!»

А вчера ты заболел, погибай,
может, мысль какую съел невзначай?
«У меня от кошки сердце болит.
Аллергия на нее», — говорит.

Зеленая обезьяна

**Я открыл на звонок.
Стояла зеленая обезьяна.
В белых бананах.
Не пьяная...**

**Над миром нравственность царит.
От Сан-Франциско до Ахтырки
не Божий стыд, а обезьяний СПИД
нас обязует к жизни монастырской.**

**Зачем нас, Господи, призвал
не ангелом — зеленой обезьяной?
Ты выбрал дарвинский финал,
вне Богослова Иоанна.**

**Из зеркала у дивана
глядела зеленая обезьяна.
Включил экран —
стояла зеленая обезьяна.**

**— У нас на СПИД реакция положительная.
Жительницы и сожители,
пацаны и отцы,
переходите на одноразовые шприцы!**

**— Не обращайтесь вне норм морали
с вампирами и комарами.**

**— Не всех подряд.
Переходите на семейный подряд.**

**У Интерконтиненталья и Госплана
стоят зеленые обезьяны.**

— Бой сословью
с голубою кровью!
Слушая Чайковского мотивы,
натягивайте на уши презервативы.

— А на 6-м этаже
(только выдержал дом бы!)
проводят испытания
сексуальной бомбы.

— У, аспиды, портят расу...

— Голубые Пикассы.

Пункт пятый.

— А это кто распятый?

— Видно, кровь берут на анализ
Такое дознались!..

Меня обзванивает зеленая обезьяна:
«По мнению Еврипида,
только русалки гарантированы от СПИДа».

Зеленая обезьяна,
зачем нам вселилась в кровь,
сменив миллион терзаний
и заповедь: «Мир — Любовь»?!

Прощай, человечество страсти.
В слезах напоследок, навзрыд,
обнимемся, сестры и братья!
А вы проверялись на СПИД?

И если кто вены вскрыет,
то публика завопит
на стих, написанный кровью:
«А вы проверялись на СПИД?..»

Я открыл на звонок.
Стояла зеленая обезьяна.
В нестираных бананах.

**С плечом
в слезах и румянах.**

Наваждение.

Сказала:

«Поговори со мной.

Я все пытаюсь объяснить —

я ни при чем.

Вирус этот — иного происхождения».

Убежала,

оставаясь безымянной.

Вы не встречались с зеленой обезьяной?

**Песенка Травести
из спектакля «Антимиры»**

**Стоял Январь, не то Февраль,
какой-то чертовый Зимарь.**

**Я помню только голосок
над красным ротиком — парок**

и песенку:

**«Летят вдали
красивые осенебри,**

**но если наземь упадут,
их человолки загрызут...»**

1963

Щенок по имени Авось

Как ты живешь, Авоська,
без сосен без савойских?
Московская француженка,
мадемуазель Авось.
Потешно вдоль Манежа
бежит щенок надежды.
Как кожаная кнопка,
блестит потертый нос.

Нажмете вы на кнопку —
и вы у Сены знобкой,
а может, дальше — в небе,
где Гончий Пес?..
Когда ж вы не без фальши —
останетесь без пальца.
Авось, не потеряйся!
«Авось,— зову,— Авось!»

Авось, тебя лечили
от злостной пневмонии.
Горел в снегах простуженный
сухой горячий нос.
«Авось!» — зовут актеры,
«Авось!» — визжат вахтеры,
и тормозят шоферы
автобусных колес.

В собачьих магазинах
есть вкусные резины —
пропитанная мясом
искусственная кость.

И всюду тумбы те же —
у Лувра и Манежа —
и можно писать вкось.

Люблю пожар Парижа!
И в зелени, как рыжики,
ампиры обрусевшие
особняков в Москве!
И модница Парижа
мигнет, примерив пыжик.
Авось, не зря построил
Манеж Бове.

Авось, все образуется,
исчезнут все абсурдности.
Хоть палец Апокалипсис
над кнопкою занес...
Но все небезутешно,
покуда вдоль Манежа,
как кнопочка надежды,
бежит потертый нос.

1984

Сирень «Москва — Варшава»

Р. Гамзатову

11.III.61

**Сирень прощается, сирень — как лыжница,
сирень, как пудель, мне в щеки
лижется!**

**Сирень заревана,
сирень — царевна,
сирень пылает ацетиленом!
Расул Гамзатов хмур, как бизон.
Расул Гамзатов сказал: «Свезем».**

12.III.61

**Расул упарился. Расул не спит.
В купе купальщицей сирень дрожит.
О, как ей боязно!**

**Под низом
колеса поезда — не чернозем.
Наверно, в мае цвеств «красивей»...
Двойник мой, магия, сирень, сирень,
сирень как гений!**

**Из всех одна
на третьей скорости цветет она!**

**Есть сто косулей —
одна газель.
Есть сто свистулек — одна свирель.
Несовременно цвести в саду.
Есть сто сиреней. — Люблю одну.**

**Ночные грозди гудят махрово,
как микрофоны из мельхиора.**

**У, дьявол-дерево! У всех мигрень.
Как сто салютов, стоит сирень.**

13.III.61

**Таможник вздрогнул: «Живьем? В кустах?!»
Таможник, ахнув, забыл устав.
Ах, чувство чуда — седьмое чувство...**

**Вокруг планеты зеленой люстрой,
промеж созвездий и деревень
свистит**

**трассирующая
сирень!**

Смешны ей — почва, трава, права...

P. S.

Читаю почту: «Сирень мертва».

P. P. S.

Черта с два!

1961

Ночной Аэропорт в Нью-Йорке

**Автопортрет мой, реторта неона, апостол
небесных ворот —
аэропорт!**

**Брежат дюралевые витражи,
точно рентгеновский снимок души.
Как это страшно, когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах
необыкновенных столиц!**

**Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
звездные судьбы
грузчиков, шлюх.**

**В баре, как ангелы, гаснут твои алкоголики.
Ты им глаголишь!**

**Ты их, прибитых,
возвышаешь!
Ты им «Прибыть»
возвещаешь!**

**Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...
Пять «Каравелл»
ослепительно
сядут с небес!
Пять полунощниц шасси выпускают устало.
Где же шестая?**

Сначала

**Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!**

**«Двенадцать» часы ваши пробили,
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолетом!**

**Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.**

**Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!**

**Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишие
и начал сначала!**

**Начните с бесславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.**

**А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
Безумие с ней расставаться,
однако**

**вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь, ее пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.**

1973

Гость из тысячелетий

Во время посещения Австра-
лии мы с Алленом Гинсбергом
гостили у величайшего певца
аборигенов Марики Уанджюка.
Через год он нанес мне ответ-
ный визит.

I

Колумб XX века, вождь аборигенов Австралии,
бронзовый, как исчезнувший майский жук,
Марика Уанджюк,
без компаса и астронавтики —
открыл Арбат.

Путь был опасностями чреват.

Уанджюк не свалился:

с «Каравеллы»,

с Ту,

с Ила,

с «Боинга-707»,

Уанджюка вертолет крутил, как праща,

Уанджюка не выкрали террористы,

Уанджюк не отравился:

после винегрета по-австралийски,

«Взлетной» карамели,

туалетного мыла,

портвейна «777»,

суточного борща,

шуточного «ерша»

и деликатеса «холодец».

Уанджюк молодец!

II

Через таможенные рентгены
он вывез наблюдения, засунув в плавки:

«Арбатские аборигены»
(для справки)

«Московиты —
мозговиты.

Их ум
становится в очередь к храму под названием ГУМ.
Врачей белохалатная каста
держит в невежестве этот талантливый
и трудолюбивый народ.

Они верят, что химические лекарства
способны вылечить, а не наоборот.
Они верят, что человек умирает
со смертью тела,

как если бы бабочка
умирала со смертью кокона
(см. гипотезу Бабушкина и Когана).

Тысячелетняя их культура созревает,
юна еще и слаба.

Они и не подозревают об Абебеа.
Они очень лживы
(но без наживы).

Если москвич говорит: «Спасибо. Мы сыты»,—
значит, умирает от аппетита.

Школьники учат про Али Баба,
но понятия не имеют об Абебеа.

У них культ барахла носильного.
Они не знают, что гораздо красивее,
когда ты только в воздух одет!

Они не знают,
что самка крокодила
хочет, чтоб возлюбленный ее насиловал.
Поэтому дети ее живут 400 лет.
Они освоили транзисторы и твисты,
но не доросли еще до пониманья
птичьего свиста.

А летом (в декабре) в этой самой Московии
выпадает белая магия — «снег».
Все по сравнению с ним — тускло,
все вызывает оскомину,
и кажется желтым дневной свет.
А ночью кусочки белого
стоят
в воздухе
спокойно,
а дома и деревья уносятся вверх!»

III

Уанджюку все очень понравилось.
Он хотел бы остаться напостоянно.
Но у них нет Океана.
У них есть кино,
но нет Океана,
у них есть блондинка Оксана,
но нет Океана,
у них есть музыка композитора Экимяна,
но нет, нет Океана.

Еще загвоздка:
они боятся свежего воздуха,
закупоренные
в квартиры огнеупорные.
Они употребляют воздух, кипяченный
в вентиляции.

Даже Андрей,
который явно
вкусил нашей зеленой цивилизации,
и тот не вылезает из-за дверей
и не имеет собственного Океана.
Странно.

И делает вид, что не знает об Абебеа.
Беда!

IV

«Арбатские аборигенши»
одеты
(летом):
в баранью бекешу
(чем мохнатее, тем модней),
под ней
куртка замшевая
и вздох «замужем я...»,
под ней
пять ремней
на пряжках,

под ними кофта синяя овечьей пряжи
и «молния» американская
(смыкается, но не размыкается),

под ней
рубашка пляжная,
с видом
на Сидней,

под ней
свитер
и 2 ночные рубахи,
охи, ахи,

под ними
бикини
на ватине
с завязками, как силок.
Под ними —
кошелек.

Культура тела весьма слаба.
Они не расчесывают боа
и понятия не имеют об Абебеа.

V

«Уанджюк, что такое Абебеа?»
«Это похоже на аабебе.
Оно над Римами и Аддис-Абебами
звенит бессмертное на трубе!

Это священной войны и блуда,
Брижит Бардо посреди двух А.
Непостижимы Аллах и Будда,
но непостижимей Абебеа.
Все остальное белиберда —
абебеа, абебеа...»
«Уанджюк, что ж такое Абебеа?»
Уанджюк улыбнулся, губами синяя,
улыбка поэта была слаба:
«Рифмовка дантовского сонета —
а —
б —
б —
а —
а —
б —
б —
а —»
Уанджюк опять ушел от ответа.

Так что же такое Абебеа?

Обстановочка

Это мой теневой кабинет.

Пока нет:

гардероба

и полн. собр. соч. Кальдерона.

Его Величество Александрийский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.

Вот кресло-катапульта
времен борьбы против культа.

Тень от предстоящей иконы:

«Кинозвезда, пожирающая дракона».

Обещал подарить Солоухин.

По слухам,

VI век.

Феофан Грек.

Стол. «Кент».

На столе ответ на анкету:

«Предпочитаю «Беломор» «Кенту».

Вот жены акварельный портрет.

Обн. натура.

Персидская миниатюра.

III век. Эмали лиловой.

Сама, вероятно, в столовой...

Вот моя теневая столовая —
смотрите, какая здоровая!

На обед

все, чего нет

(след. перечисление ед).

Тень бабушки — салфетка узорная,

вышивала, страдалица, вензеля иллюзорные.

Осторожно, деда уронишь!
Пианино. «Рёниш».
Мамино.

Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
Одна клавиша полуутоплена,
еще теплая.
(Бьет.) Ой, нота какая печальная!
Сама, вероятно, в спальне.
Услышала нас и пошла наводить марафет.

«Уходя, выключайте свет!»
«Проходя через пороги,
предварительно вытирайте ноги.
Потолки новые —
предварительно вымывайте голову».

Вот моя теневая спальня.
Ох, как развалено...
Хорошо, что жены нет.
Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет
+ 14 созданий
с площади Испании.
Уголок забытых вещей!
№ 2-й,
№ 3-й,
№ 8-й — никто не признается чай!
А вот жена броска.
И платье брошено...
наверное, опять побегла к Аэродрому
за димедролом...
Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные...

(В прихожей, черен и непрост,
кот поднимал загнутый хвост,
его в рассеянности Гость,
к несчастью, принимал за трость.)

Вот ванная.
Что-то странное!
Свет под дверью. Заперто изнутри.
Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
Вот так всегда.
Слышите, переливается на пол вода.
(Стучит.) Нет ответа.
(От страшной догадки он делается
неузнаваем.)

О нет, только не это!..
Ломаем!
Она ведь вчера говорила —
«Если не придешь домой...»
Милая! Что ты натворила!
(Дверь высаживают.)
Боже мой!..
Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины.
Сухие, нетронутые полотенца...

Голос из стены:
«А зачем мне вытираться,
вылетая в вентиляцию?!»

+ + +

Друг мой, мы зажились. Бывает.
Благодать.
Раз поэтов не убивают,
значит, некого убивать.

1975

Песня акына

Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, господь, второго,—
чтоб вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной,
не милостей на денек —
пошли мне, господь, второго,—
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял,
не часто, ну, хоть разок.
Из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиночеством окружен.
Пошли ему, бог, второго —
такого, как я и он.

1971

Латышский эскиз

Уходят парни от невест.

Невесть зачем из отчих мест
три парня подались на Запад.
Их кто-то выдает. Их цапают.
Год 40-й. Привет!
«Суд идет!» Десять лет.

«Возлюбленный, когда ж вернешься?!
четыре тыщи дней, как ноша,
четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя все нет,
четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
предела нету для любимой —
ополоумевши любя,
я, Рута, выдала тебя —
из тюрем приходят иногда,
из заграницы — никогда...»

...Он бьет ее, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.
О, вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!»

1963

Охота на зайца

Ю. Казакову

Травят зайца! Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хроме лица,
зять Букашкина с пацаном —

газанем!

«Газик», чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
 живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
ослепленная и извечная,
она нынче вопит: зайчатины!
Завтра взвоят о человечине...

Это дилось мгновение,
мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся
земли.

Четыре черные дробинки, не долетев,
вонзились
в воздух.
Он взглянул на нас. И — или это нам показало-
лось — над горизонтальными мышцами
бегуна, над запекшимися шерстинками шеи
блеснуло лицо.

Глаза были раскосы и широко расставлены,
как на фресках Феофана.
Он взглянул изумленно и разгневанно.

Он парил.
Как бы слился с криком.

Он повис...
С искаженным и светлым ликом,
как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору,
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
наши лица неслись во мрак.

1963

Рок

Рок надо мною. Куда меня гоните?
По раскладушкам мечусь, как изгой.
Горе как погреб в любой раскрывается комнате
Ров подо мною — рок надо мной.

Что я хотел? Чтобы жить, как манило.
Что получил я? Счет гробовой.
Под колыбелью раскрылась могила.
Ров подо мною — рок надо мной.

Это расплата космического расклада.
Всем, кого любишь, оказываешься бедой.
Как я любил переделкинские пенаты!
Смыло щепой.

А в небесах ненасытным уроком
воет душа,
что в сердцах самовольно спустила курок.
Рок над семьею, откуда я родом.
И над страной, где семья моя, рок.

Чем я служил в эти светлые годы,
кроме стихов, что попутно изрек?
Я для народа был тайным громоотводом.
Трещит позвоночник. Такой уж рок.

1983

+ + +

Слоняюсь под Новосибирском,
где на дорожке к пустырю
прижата камушком записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,
над вами прыснувшей в углу?
Иль просто надо объясниться?
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опушка — я тебя люблю!
Зверюга — я тебя люблю!
Разлука — я тебя люблю!

Детсад — как семь шаров воздушных,
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесет и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмет, когда над осенью,
хоть никогда не быть мне с ней,
уносит лодкой восьмивесельной
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем
пройдет деревня на плаву.
Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

**И как ремень с латунной пряжкой
на бражном, как античный бог,
на нежном мерине дремавшем
присох осиновый листок.**

**Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданием:
«Поэт? Люблю. Пойдем — раздавим...»
Он сам, как осень, во хмелю.**

**Над пнем склонилась паутина,
в хрустальном зеркале храня
тончайшим срезом волосиным
все годовые кольца пня.**

**Будь с встречным чудом осторожней...
Я встречным «здравствуй» говорю.
Несешь мне гибель, почтальонша?
Прохожая, тебя люблю!**

**Прохожая моя планета!
За сумасшедшие пути,
проколотые, как билеты,
поэты с дырочкой в груди.**

**И как цена боев и риска,
чем, ярлычок на клею,
к Земле приклеена записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»**

1967

Лобная баллада

**Их величеством поразвlechься
прет народ от Коломн и Клязьм.**

**«Их любовница —
контрразведчица
англо-шведско-немецко-греческая...»**

Казнь!

**Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.**

**И когда голова с топорика
подкатилась к носкам ботфорт,
он берет ее**

**над толпою,
точно репу с красной ботвой!**

**Пальцы в щеки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.**

**Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена,**

«А-а-анхен!...»

Отвечает ему она:

**«Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины,
но зачем твои руки липкие
солонь?»**

баба я
вот и вся провинность
государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой ли любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй

как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!..»

Царь застыл — смурной, малахольный,
царь взглянул с такой меланхолией,
что присел заграничный гость,
будто вбитый по шляпку гвоздь.

1961

Похороны Гоголя Николая Васильича

И. Завещаю тела моего не по-
гребать до тех пор, пока не по-
кажутся явные признаки раз-
ложения. Упоминаю об этом
потому, что уже во время са-
мой болезни находили на меня
минуты жизненного онемения,
сердце и пульс переставали
биться...

Н. В. Гоголь. «Завещание»

I

**Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:**

**«Как доносится дождь через крышу,
но ко мне не проникнет, шумя,—
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.**

**Вы вокруг меня встали в кольцо,
наблюдая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.**

**Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны в России,
поминают, когда мы мертвы,
забывая, пока живые.**

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачиваете в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

II

«Поднимите мне веки, соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудитесь от галиматый.

Поднимите мне веки!
Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партой,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!
Под Уфой затекает спина,
под Рязанью мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально.
Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.

Я запретный растил для вас плод,
плоть живую я скрещивал с тленьем.
Помоги мне подняться, Господь,
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

**«Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.**

**Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!**

**Жизнь сквозь поры несется в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки
недопитого мною нарзана».**

**Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!**

III

**«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в нее не просунуться.
Что там муки Господние
перед тем, как в могиле проснуться!»**

**Крик подземный глубин не потряс.
Трое выпили на могиле.
Любят похороны у нас,
как вы любите слушать рассказ,
как вы Гоголя хоронили.**

**Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.**

1973 г.

Реквием

**Возложите на море венки.
Есть такой человеческий обычай —
в память воинов, в море погибших,
возлагают на море венки.**

**Здесь, ныряя, нашли рыбаки
десять тысяч стоящих скелетов,
ни имен, ни причин не поведав,
запрокинувших головы к свету,
они тянутся к нам, глубоки.
Возложите на море венки.**

**Чуть качаются их позвонки,
кандалами прикованы к кладбищу,
безымянные страшные ландыши.
Возложите на море венки.**

**На одном, как ведро, сапоги,
на другом — на груди амулетка.
Вдовам их не помогут звонки.
Затопили их вместо расстрела,
души их, покидавшие тело,
по воде оставляли круги.
Возложите на море венки
под свирель, барабан и сирены.
Из жасмина, из роз, из сирени
возложите на море венки.**

**Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые мужчины.
Из сирени, из роз, из жасмина
возложите живые венки.**

**Заплетите земные цветы
над землею сгоревшим пилотам.
С ними пили вы перед полетом.
Возложите на небо венки.**

**Пусть стоят они в небе, видны,
презирая закон притяженья,
говоря поколениям пришедшим:
«Кто живой — возложите венки».**

**Возложите на Время венки,
в этом вечном огне мы сгорели.
Из жасмина, из белой сирени
на огонь возложите венки.**

**И на ложь возложите венки,
мы в ней гибнем, товарищ, с тобою.
Возложите венки на Свободу.
Пусть живет. Возложите венки.**

1975

+++

Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылез из спален.
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спою, не виня:
«Пусть я удобренье для божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

1971

Роща

Не трожь человека, деревце,
костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается —
боже, не приведи!

Не бей человека, птица,
еще не открыт отстрел.
Круги твои —

ниже,
тише.

Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начесами до бровей —
травили его, отсвистывали,
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресенье
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968

Недописанная красавица

Ф. Абрамову

**Где холсты незабудкой отбеливают,
в клубе северного села
дочь шофера записку об Элиоте
подала.**

**Бровки, выгоревшие, белые,
на задумавшемся лице
были словно намечены мелом
на задуманном кем-то холсте.**

Но глаза уже были — Те.

**Те глаза — написаны сильно
на холщовом твоём лице —
смесь небесного и трясины —
говорили о красоте.**

**Недописанная красавица!
Будто кто-то, начав черты,
испугался, чего касается,
и бежал твоей красоты.**

**В тебе что-то от нашей жизни
с непрописанною судьбой,
что нуждается в некоей кисти,
чтоб себя осознать самой.**

Телевизорная провинция!
Ты себя еще не нашла.
И какая в тебе предвидится
непроснувшаяся душа?

Телевизорная провинция,
чьи бревенчатые шатры
нынче сумерничают с да Винчи,
загадала свои черты.

С шеи свитер свисал, как обод,
снятый с местного силача.
И на швах готовые лопнуть
джинсы — тоже с чужого плеча.

В жизни что-то происходило!
Темноликие земляки.
Но ресницы их белыми были —
словно будущего штрихи.

И стояла моя провинция,
подпирающая косяк,
и стояла в ней боль пронзительная —
вдруг пропишется, да не так...

Время в стойлах мычало, блеяло.
Рождество намечалось в них.
И тревожился не об Элиоте
очарованный черновик.

Двадцать первого века подросток
мучил женщину наших дней.
Вся — набросок!
Жизнь, пошли художника ей.

Е. W.

Как заклинание псалма,
безумец, по полю несясь,
твердил он подпись из письма:
«Wobulimans» — «Вобюлиманс».

«Родной! Прошло осьмнадцать лет,
у нашей дочери — роман.
Сожги мой почерк и пакет.
С нами любовь. Вобюлиманс.
P. S. Не удался пасьянс».

Мелькнет трэфовый силуэт
головки с буклями с боков.
И промахнется пистолет.
Вобюлиманс — с нами любовь.

Но жизнь идет наоборот.
Мигает с плахи Емельян.
И все Россия не поймет,
С нами любовь — Вобюлиманс.

Грех

**Я не стремлюсь лидироать,
где тараканьи бега.
Пытаюсь реабилитировать
в стране понятие греха.**

**Душевное отупение
отъевшихся кукарек —
это не преступление —
великий грех.**

**Когда осквернен колодец
или Феофан Грек,
это не уголовный,
а смертный грех.**

**Когда в твоей женщине пленной
зарезан будущий смех —
это не преступление,
а смертный грех...**

**Не было б для Прометея
великим грехом — не красть.
И было б грехом смертельным
для Аннушки Керн — не пасть.**

**Ах, как она совершила
его на глазах у всех —
Россию заморозивший
бессмертный грех!**

**А гениальный грешник
пред будущим грешен был
не тем, что любил черешни,
был грешен, что — не убил.**

1977

Порнография духа

Отплясывает при народе
с поклонником голым подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории,
в искусстве силен, как стряпуха,
раскроет на аудитории
свою порнографию духа.

В Пикассо ему все не ясно,
Стравинский — безнравственность слуха.
Такого бы постеснялась
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели,
стыжусь за пославших ее.
Когда мой собрат по панели,
стыжусь за него самое.

Подпольные миллионеры,
когда твоей родине худо,
являют в брильянтах и нерпах
свою порнографию духа.

Напишут чужою рукою
статейку за милого друга,
но подпиши его под статьею
висит порнографией духа.

Когда на собрании в зале
неверного судят супруга,
желая интимных деталей,
ревет порнография духа.

Как вы вообще это смеее!
Как часто мы с вами пытаемся
взглянуть при общественном свете,
когда и двоим — это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б...
Но в скважине голый глаз
значительно непристойнее
того, что он видит у вас...

Клеймите стриптизы экранные,
венерам закутайте брюхо.
Но все-таки дух — это главное.
Долой порнографию духа!

1974

+ + +

Напоили.

Первый раз ты так пьяна,
на пари ли?
Виновата ли весна?
Пахнет ночью из окна
и полынью.
Пол — отвесный, как стена...
Напоили.

Меж партнеров и мадам
синеглазо
бродит ангел вдребадан,
семиклашка.
Ее мутит. Как ей быть?
Хочет взрослою побыть.

Кто-то вытащит ей таз
из передней
и наяривает джаз,
как посредник:

«Все на свете в первый раз,
не сейчас —

так через час,
интересней в первый раз,
чем в последний...»
Но чьи усталые глаза
стоят в углу,
как образа?

[illegible]

Что им мерещится в фигурке между танцующих фигур?

**И как помада на окурках,
на смятых пальцах
маникюр.**

1967

Новогодние ралли-стоп

Пл. Маяковского. 3 ч. дня.

Ты в четырех машинах впереди меня.

«Волга», «Москвич», «Рафик».

Красный зад с табличкою «проба».

Трафик.

Пробка.

Постовой с микрофоном —

как эстрадный трагик.

Шепот. Робкое дыханье. Трели соловья.

Сопот. Роберт. Долуханова.

Ты в трех машинах впереди меня.

Трафик.

До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до-ре —

100 ре-домино-сын в МИСИ-неси 10 ре.

Три часа до Нового года.

Пл. Пушкина. Нет обгона.

Пушкин. Фет. Барков. Переделков. Упаковкин.

Нет парковки.

Пробка.

Исторический график:

Людовики — 7-й, 8-й, 8½, до черта графов.

Твои любовники — Владлен 3-й, Владлен 4-й.

«Рафик».

Мне плохо.

График.

Пробка.

Мысли:

не завелись бы в кардане мыши.

2 часа до Нового года.
Пл. Маяковского. Капоты, капоты —
теснее, чем клавиши
или места на Ваганьковском кладбище.

Авто — моя крепость, авторакушка.
Ловушка!
Кого боится Вирджиния Вульф?
Всех, кто сядет впервые за руль.

Старушка пешком обгоняет вас
со скоростью 100 км в час.
По тротуарам несутся ночные ковбои
с единственной мыслью: кого бы?

«Шкоды»! Пошехония!
Пора ограничить скорость пешеходов.
Или ввести единую.
½ часа до Нового года.
Ты в двух машинах впереди меня.
О вечный зад с табличкой «проба»!
Пробка.

С РАБОТЫ И НА РАБОТУ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА, ИЗ ФРУНЗЕ В САРАНСК НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ ЭРФРАНС.

Одинокий мужчина
меняет машину
в центре Пушкинской площади
на Жигули той же площади,
но в районе Крымского моста

Твоя машина пуста.

Я тоскую по сильным глаголам —
жить — думать — дышать — мчать,—
как форвард тоскует по голу,
когда окончился матч.

Догнать — обернуться — видеть —
вернуться — себя подарить —
нарушить — возненавидеть —
разбиться — и благодарить —

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В КАССАХ АЭРОФЛОТА
НЕ СИДИТЕ БЕЗ ПРИВЯЗНОГО РЕМНЯ —
умчать себя к Новому году —
ты во всех машинах впереди меня.

Нарушу.

Эй, выйдемте все из панцирей и из капотов
и из зада с табличкою «проба».

Наружу!

Шампанского!!
С Новым годом!!!

Пробка!

1975

+ + +

**Мы обручились временем с тобой,
не кольцами, а электрочасами.
Мне страшно, что минуты исчезают.
Они согреты милою рукой.**

1975

«Как же, вот сейчас видела —
в облачках она витала.
Пара крылышков на ей,
как подвязочки!
Только уточняя: номер 38½...»

Горизонты растворялись
между небом и водой,
облаками, островами,
между камнем и рукой.

На матрасе — пять подружек,
лицами одна к одной,
как пять пальцев в босоножке
перетянуты тесьмой.

Пляж и полдень — продолжение
той божественной ступни.
Пошевеливает Время
величавою ногой.

Я люблю уйти в сиянье,
где границы никакой.
Море — полусостоянье
между небом и землей,
между водами и сушей,
между многими и мной;
между вымыслом и сущим,
между телом и душой.

Как в насыщенном растворе,
что-то вот произойдет:
суша, растворяясь в море,
переходит в небосвод.

И уже из небосвода
что-то возвращалось к нам
вроде бога и природы
и хождения по водам.

Понятно, бог был невидим.

Только треугольная чайка
замерла в центре неба,
белая и тяжело дышащая,—
как белые плавки бога...

1968

Ода одежде

**Первый бунт против Бога — одежда.
Голый, созданный в холоде леса,
поправляя Создателя дерзко,
вдруг — оделся.**

**Подрывание строя — одежда,
когда жердеобразный чудаки
каждодневно
желтой кофты вывешивал флаг.**

**В чем великие джинсы повинны?
В вечном споре низов и верхов —
тела нижняя половина
торжествует над ложью умов.**

**И, плечами пожав, Слава Зайцев,
чтобы легче дышать или плакать,—
декольте на груди вырезает,
вниз углом, как арбузную мякоть.**

**Ты дыши нестесненно и смело,
очертаньями хороша,
содержанье одежды — тело,
содержание тела — душа.**

1977

Телеграмма

ТЕБЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ПОЧТА РЯЗАНИ КАЗАНИ
ТАНЗАНИИ И ВЫШНЕГО ВОЛОЧКА — ТАКАЯ ТОСКА
ТЧК ПРОСТРОЧЕНЫ МНОГОТОЧИЕМ СЛЕДЫ ТВОЕГО
КАБЛУЧКА ТЧК С ТОБОЙ МЫ ЛЮБОВЬ КРУТАНУЛИ НА
ФОНЕ ПРИБОЯ И ОГНЕННОГО ПЕСКА ТЧК ТЫ ВСЯ
ГОЛУБАЯ СПИНА ГОЛУБАЯ ЕЩЕ ГОЛУБЕЕ ЩЕКА ТЧК
ОТЛИЧНАЯ ТЕЛКА ЗАМЕДЛЕННАЯ СЛЕГКА ТЧК ЛЕ-
ЖАТ НА ПЕСКЕ ИЛЛЮЗИИ И СБРОШЕННЫЕ ШЕЛКА
А ТАКЖЕ РОМАН ЮЛИАНА ИЗ ЖИЗНИ ОДЕССКОЙ ЧК
Я БРЕЮСЬ ЖУЖЖАЩЕЮ БРИТВОЙ МЕНЯ ТЫ ЦЕЛУЕШЬ
И ЛЮБИШЬ И ЛАСТИШЬСЯ БРЕЮСЬ ПОКА ТЧК ТОБОЮ
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ ЛЕТИТ НА ЧЕТЫРЕ КУСКА
ПРИМЕТА ОСТРА И ГОРЬКА ТЧК О БУДЬ ОСТОРОЖНЕЙ
ОБРЕЖЕШЬ СВОИ ГОЛУБЫЕ БОКА ТЧК ПРОЩАЙ ОТРА-
ЗИВШИСЬ В ОСКОЛКАХ К ТЕБЕ НЕ ВЕРНУСЬ НИКОГДА
ТЕБЯ НЕ ЛЮБЛЮ НИКОГДА НИКОГДА ОПЯТЬ НА ТЕБЕ
СТАВЛЮ ТОЧКУ ТЧК ТЧК ТЧК ТЧК ПОИЩИ ДУРАЧКА
ТЧК ПОЙДЕШЬ СПОТЫКАЯСЬ НА КАЖДОЙ СТУПЕНЬ-
КЕ МОСТКА ТЧК ПОКА ТЧК МОЯ ГОЛУБАЯ ЕДИН-
СТВЕННАЯ НАВЕРНЯКА ТЧК ПРОЩАЙ ТЫ ОСТАНЕШЬ-
СЯ В СТРОЧКАХ ТЕЛЕГРАФНОГО ЯЗЫКА И ГДЕ-ТО НА
ПОЧТЕ НОЧЬЮ НАД СКОМКАННЫМ БЛАНКОМ СРОЧ-
НЫМ ТЫ ВСКРИКНЕШЬ НЕВИДИМА И БЛИЗКА ТЧК
ПОЙМЕШЬ ЛИ СКВОЗЬ ЭТИ СТРОЧКИ МОЙ ОДИНОКИЙ
ВОПЛЬ ВОПР-

1980

Водная лыжница

**В трос вросла, не сняв очки бутылки,—
уводи!**

**Обожает, чтобы уводили!
Аж щека на повороте у воды.**

**Проскользила — боже! — состругала,
наклонившись, как в рубанке оселок,
не любительница — профессионалка,
золотая чемпионка ног!**

**Я горжусь твоей слепой свободой,
обмирающей до кишок —
золотою вольницей увода
на глазах у всех, почти что нагишом.**

**Как истосковалась по пиратству
женщина в сегодняшнем быту!
Главное — ногами упираться,
чтоб не вылетела на ходу.**

**«Укради, как раньше на запятках,—
миленький, назад не возврати!» —
если есть душа, то она в пятках,
упирающихся в край воды.**

**Укради за воды и за горы,
только бы надежен был мужик!
В золотом забвении увода
онемеют десны и язык.**

**«Да куда ж ты без спасательной жилетки,
как в натянутой рогаточке свистя?
Пожалейте, люди, пожалейте
себя!..**

**...Но остался след неуловимый
от твоей невидимой лыжни,
с самолетным разве что сравнимый
на душе, что воздуху сродни.**

**След потери нематериальный,
свет печальный — бог тебя храни!
Он позднее в годах потерялся,
как потом исчезнут и они.**

1971

Водяные

Мы — животные!
Твое имя людское сотру.
Лыжи водные
распрямяют нас на ветру.

Чтоб свобода нас распрямила
на лету —
словно рвешь лошадиную силу
на Аничковом мосту.

Одиночество! —
вся надежда на позвоночники.
Не сорваться бы —
мы животные цивилизации.

Берег. Женщина-невеличка.
Счастье — вот оно!
И в боксерских перчатках спички.
Мы — животные.

И змеиному телу подруги,
приподнявшей на руке,
мы, наверное, кажемся плугом,
накренившемся вдалеке.

Тренированные на водных,
на земных,
мы осваиваемся свободно
на воздушных и на иных.

**Человекообразные други
нас облают в этой связи.
Человекообразные духи
нам указывают стези.**

**Голова на усах фекальных
выплывает из глубины.
Что же держит нас вертикально?
Тяга женщины и страны.**

**Где каким-то чудом сохранны,
запрокинутые назад,
ухватясь за твои телеграммы,
покосившись, столбы летят.**

**И когда душа моя по небу
взмлет вовремя —
что ей в это мгновение вспомнится?
Лыжи вольные!**

1981

Воздушные лыжи

**Я водные лыжи почти ненавижу,
когда надеваю воздушные лыжи.**

**Полжизни вложил я в воздушные лыжи,
полнеба за трос вырывая двужильно.
Мои провозвестники кончили грыжей,
воздушные лыжи со мною дружили.**

**Ты плаваешь слабо, мой гибкий товарищ,
ты воздух хватаешь, как водная лилия.
На водные доски тебя не поставишь.
Я ставлю тебя на воздушные лыжи.**

**Не ешь до звезды. И питайся любовью,
сдирая лодыжки о воздух и крыши.
Семья тебя кроет спириткой бесстыжей
за то, что познала воздушные лыжи.**

**Пойми, что энергия — та же материя.
Ладонка твоя щурит свет Моны Лизы.
Но только одна не катайся. Смертельно!
Когда я уснул, ты взяла мои лыжи.**

**Я видел тебя над Парижем и Вяткой.
Прощай! Я живую тебя не увижу.
Лишь всплыли на небе пустом необъятно,
как стрелки часов, две скрепленные лыжи.**

Мое преступление ужасно. Я спятил.
Ты же —
жива. Ты по небу катаешь на пятке.
Зачем ты сломала воздушные лыжи?

1981

**Смилуйся, распрограммируйся, Время,
чем ты была, если я разумею,
жизнь, позабывшая код заповедный,
зомби забвенья.**

**Распрограммируйся, туфля-подснежник!
Смилуйся, распрограммируйся, поезд!
Жизнью обертывается позднее
эта и мне непонятная повесть.**

**Амба. Меня ты назавтра убила.
Но не о том я молю с горизонта:
это тебя не освободило?
Милая! Распрограммируйся, зомби!**

1982

В тополях

**Эти встречи второпях,
этот шепот торопливый,
этот ветер в тополях —
хлопья спальни тополиной!**

**Торопитесь опоздать
на последний рейс набитый.
Торопитесь обожать!
Торопитесь, торопитесь!**

**Торопитесь опоздать
к точным глупостям науки,
торопитесь опознать
эти речи, эти руки.**

**Торопитесь опоздать,
пока живы — опоздайте.
Торопитесь дать под зад
неотложным вашим датам...**

**Господи, дай опоздать
к ежедневному набору,
ко всему, чья ипостась
не является Тобою!..**

**Эти шавки в воротах.
Фары вспыхнувшим рапидом.
У шофера — второй парк.
Ты успела? Торопитесь...**

1982

Книжный бум

**Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что черный том ее агатовый
куда дороже, чем агат.**

**Кто некогда ее лягнули —
как к отпущению грехов —
стоят в почетном карауле
за томиком ее стихов?**

**«Прибавьте тиражи журналам»,—
мы молимся книгобогам,
прибавьте тиражи желаньям
и журавлям!**

**Все реже в небесах бензинных
услышишь журавлиный зов.
Все монолитней в магазинах
сплошной Массив Муравлев.**

**Страна поэтами богата,
но должен инженер копить
в размере чуть ли не зарплаты,
чтобы Ахматову купить.**

**Страною заново открыты
те, кто писали «для элит».
Есть всенародная элита.
Она за книгами стоит.**

Страна желает первородства.
И, может, в этом добрый знак —
Ахматова не продается,
не продается Пастернак.

1977

+ + +

Шел я ёдоль русла какой-то речушки,
грустью гонимый. Когда же очухался,
время стемнело. Слышались листья:

«Мы — мысли!»

Пар подымался с притоков речушки:

«Мы — чувства!»

Я заблудился, что было прискорбно.
Степь начиналась. Идти стало трудно.
Суслик выглядывал перископом
силы подземной и непробудной.

Вышел я к морю. И было то море —
как повторенье гравюры забытой —
фантазмагория на любителя! —
волны людей были гроздьями горя,
в хоре утопших, утопий и мора
город порхал электрической молью,
трупы истории, как от слабительного,
смыло простором любви и укора.
Море моею питалось рекою.
Чувство предшествовало событию.

Круглое море на реку надето,
будто на ствол крона шумного лета,
или на руку боксера перчатка,
или на флейту Моцарт печальный,
или на душу тела личина —
чувство являлось первопричиной.

**«Друг, мы находимся в устье с тобою,
в устье предчувствий —
там, где речная сольется с мирскою,
выпей из устья!»**

**Что это было? Мираж над пучиной?
Или замкнулся с душой мировою?
Что за собачья эта кручина —
чуть, вернее, являться причиной?..
И окружающим мука со мною.**

1980

Время на ремонте

**Как архангельша времен
на часах над Воронцовской
баба вывела: «Ремонт»,
и спустилась за перцовкой.**

**Верьте тете Моте —
Время на ремонте.**

**Время на ремонте.
Медлят сбросить кроны
просеки лимонные
в сладостной дремоте.**

**Фильмы поджеймсбондили.
В твисте и нервозности
женщины — вне возраста.
Время на ремонте.**

**Снова клеши в моде.
Новости тиражные —
как позавчерашние.
Так же тягомотны.**

**В Кимрах именины.
Модницы в чулках,
в самых смелых «мини» —
только в челочках.
Мама на «Раймонде».
Время на ремонте.**

**Реставрационщик
потрошит да Винчи.
«Лермонтов» в ремонте
гаечки довинчивают.**

**«Я полагаю, что пара вертолетов
значительно изменила бы ход Аустерлицкого
сражения.**

**Полагаю также, что наступил момент
произвести
девальвацию минуты.
Одна старая мин. равняется 1,4 новой. Тогда
соответственно, количество часов в сутках
увеличится, возрастет производительность
труда, а в оставшееся время мы сможем
петь...»**

**Время остановилось.
Время 00 — как надпись на дверях.
ПРЕКРАСНОЕ МГНОВЕНИЕ, НЕ СЛИШКОМ ЛИ
ТЫ ПОДЗАТЯНУЛОСЬ?**

**Которые все едят и едят,
вся жизнь которых — как затянувшийся
обеденный перерыв,
которые едят в счет 1995 года,
вам говорю я:**

**«Вы временны».
Канторские и конвейерные,
чья жизнь — изнурительный
производственный ритм,
вам говорю я:**

**«Временно это».
Которая шьет-шьет, а нитка все не кончается,
которые замерли в 30 м от финиша
со скоростью
270 км/никогда,**

**вам говорю я:
«Увы, и вы временны...»**

«До-до-до-до-до-до-до-до» — он уже
продолбил клавишу,
так что клавиша стала похожа на домино
«пусто-один» —
«до-до-до»...

Прекрасное мгновенье,
не слишком ли ты подзатынулось?

Помогите Время
сдвинуть с мертвой точки.
Канты, Марксы, лемехи,
все — второисточники.

Не на семи рубинах
циферблат Истории —
на живых, любимых,
ломкие которые.

Может, рядом, около,
у подружки ветреной
что-то больно екнуло,
а на ней все вертится.

Обнажайте заживо
у себя предсердие,
дайте пересаживать.
В этом и бессмертие.

Ты прощай, мой щебет,
сжавшийся заложник,
неизвестность щемит —
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная —
вдруг не разожмется?
Если человеческое —
значит, приживется.

**И колеса мощные
время навернет.
Временных ремонтчиков
вышвырнет в ремонт!**

1967

Соблазн

**Человек — не в разгадке плазмы,
а в загадке соблазна.**

**Кто ушел соблазненный за реки,
так, что мир до сих пор в слезах,—
сбросив избы, как телогрейки,
с паклей вырванною в пазах?**

**Почему тебя областная
неказистая колея
не познанием соблазняя,
а непознанным увела?**

**Почему душа почевала
с роцей, ждущею топора,
что дрожит, как в опочивальне
у возлюбленной зеркала?**

**Соблазненный землей нележкой,
что нельзя назвать образцом,
я тебе не отвечу логикой,
просто выдохну: соблазнен.**

**Я Великую Грязь облазил,
и блатных, и святую чернь,
их подсвечивала алмазно
соблазнительница-речь.**

**Почему же меня прельщают
Музы веры и лебеды,
у которых мрак за плечами
и еще черней — впереди?**

**Почему, побеждая разум —
гибель слаще, чем барыши,—
соблазнитель крестообразно
дал соблазн спасенья души?**

**Почему он к тоске тернистой
отвернулся от тех, кто любил,
чтоб распятого жест материнский
их собой, как детей, заслонил?**

**Среди ангелов-миллионов,
даже если жизнь не сбылась,—
соболезнуй несоблазненным.
Человека создал соблазн.**

1977

Баллада о двух

Завгар, ты — дружинник и член партбюро,
лицо твое в прессе почет обрело,
выходишь ты в полночь,
в кармане сжав гирию,—
«Опять изнасилованную убили!»
Спи мирно, держава. Дорогами слез
гуляет Варавва и ходит Христос.

По области сперму берут на анализ.
Сознались два нервных. Рок-группа созналась.
Но телеграфирует новая ночь —
убита с подругою твоя дочь.

Пирует с дружиною страшный завгар.
И молится мальчик на воли закал.
Повсюду мерещится крик из-под кляпа:
«Папа!»
А утром записка у нового трупа:
«Да здравствует террор! Подпольная группа».

По области почерк берут на анализ.
Расстрелян один. Еще восемь сознались.
Незримый Варавва в глуши земной
творит свой мини-тридцать седьмой.

— Скажи мне, прохожий, а ты не Варавва?
— Зачем мне, дружинник, делить твою славу?
Да разве облавою схватишь в снегах
присутствие дьявола в наших шагах?..

**Я городом шел, где забытый Шагал.
Стояла тюрьга у края оврага,
верней, монастырь,
 превращенный в тюрьгу.
Там воет в наручниках
 страшный завгар.
Неужто мы жили, молясь на Варавву?..
Прости нас, Боже правый!**

Из поэмы «РОВ»

Легенда

Ангел смерти является за душой,
как распахнутый страшный трельяж.
В книгах старых словес
я читал, что он весь
состоял из множества глаз.
И не знал ни Хистое,
ни философ Шестов —
почему он из множества глаз?

Если ж он ошибался
(отсрочен ваш час),—
улетал. Оставлял новый взгляд.
Удивленной душе
он дарил пару глаз.
Достоевский так стал, говорят.

Ты идешь по земле,
Валентин, Валентин!
Ангел матери тебя спас.
И за то наделил
тебя зреньем могил
из двенадцати тысяч пар глаз.

Ты идешь меж равнин,
новым зреньем раним.
Как мучителен новый взгляд!
Грудь не в блеске значков —
в зрячих язвах зрачков.
Как рубашки шерстя!

Ты ночами кричишь,
видишь корни причин.
Утром в ужасе смотришь в трельяж.
Но когда тот, другой,
прилетит за душой,
ты ему своих глаз не отдашь.

Не с крылом серафим,
как виндсерфинг носим,
вырывал и вырезал мне язык.
Меня вводит без слов
в симферопольский ров
ангел — Валя Переходник.

Долг

**История — прямо
долговая яма.**

**Мне должен Наполеон
Арбат, который был спален.**

**— Представим, что татарского ига нет,
тогда все сдвинется на 300 лет.**

**Чингисхан
мне должен 300 лет назад не построенный БАМ.**

**Хау ду ю ду? —
если бы мы взяли Зимний в 1617 году?
В Европе бы грызлись Алые и Белые розы,
а мы бы уже укрупняли колхозы.
Если б не Иго,
Иван Грозный бы вылезал из МИГа.
А Шекспир
ехал бы к нам бороться за мир.
До границы его бы карета везла,
а от Ленинграда экспресс «Красная стрела».**

**Одно лицо
должно мне Садовое кольцо.
Продолжим.**

**Я должен
недочитанному поэту по имени Спир. Дрожжин.**

**Я должен
мальчику 2000 года
за газ и за воду
и погибшую северную рыбу.
(Он говорит: «Спасибо!»)**

**Поднесут ли лютики
к столетию научно-технической революции?**

Перед ремонтом

**В год приближения Галлеи
прощаюсь с Третьяковской галереей.**

**Картины сняты. Пусты анфилады.
Стремянкою с последнего холста
спускался человек, похожий на Филатова.
Снимали со стены «Явление Христа».**

**Рыдают бабы. На стенах разводы.
Ты сам статьями торопил ремонт.
«Явление Христа» уходит от народа
в запасный фонд.**

**Ты выступал, что все гниет преступно,
чего ж ты заикаешься от слез?
Последним капитан уходит с судна —
не понятый художником Христос.**

**Художнику Христос не удавался.
Фигуркой, исчезающей из глаз,
вы думали — он приближался?
Он, пятясь, удаляется от нас.**

**До нового свиданья, Галерея!
До нового чертога, красота.
Не нам, не нам ты явишься, Галлея.
До новых зрителей, «Явление Христа».**

**На улицу, раздвинув операторов
и запахнув сатиновый хитон,
шел человек, похожий на Филатова.
Я обознался. Это был не он.**

1986 г.

+ + +

Не отрекусь
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадежной и продрогшей
из актрисуль.

Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кощунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?» —
наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!

В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.

Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Все признаю.

Толпа кликуш
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверю.

Не отрекусь.

1975

Гаяна

900 детей блаженной памяти,
900 гниющих в джунглях тел.
Отказались от преступной матери
самые из искренних детей.

900 лежащих забастовщиков
навсегда.
Сквозь тела, как в трубы водосточные,
прошумела зряшная вода.

Не хипня, не групповое братство,
мне явился в дунглевых лесах
смоляной огонь старообрядцев,
что сжигались в угольных церквях.

Не для всех тот пламень непомерный.
На губах обманное питье.
Те сожглись в огне великой веры,
эти в тщетных поисках ее.

Дети, дети, что вы натворили!
Что мы натворили, все подряд.
Ангелы уснули — отравители.
Ангелы отравленные спят.

Жизнь сидит с недетской гримаской,
с чашею отравленной сидит —
медицинской или гефсиманской?
Их не нам, преступникам, судить.

1968

Люмпен-интеллигенция

**Опять надстройка рождает базис.
Лифтер бормочет во сне Гельвеция.
Интеллигенция обуржуазилась.
Родилась люмпен-интеллигенция.**

**Есть в русском «люмпен» от слова «любит».
Как выбивались в инженера,
из инженеров выходит в люди
их бородатая детвора.**

**Их в институты не пустит гордость.
Там сатана правит бал тебе.
На место дворника гигантский конкурс —
музы носятся на метле!..**

**Двадцатилетняя, уже кормящая,
как та княгинюшка на Руси,
русская женщина новой формации
из аспиранток ушла в такси.**

**Ты едешь бледная — «люминесценция»! —
по темным улицам совсем одна.
Спасибо, люмпен-интеллигенция,
что можешь счетчик открыть с нуля!**

**Не надо думать, что ты без сердца.
Когда проедешь свой бывший дом,
две кнопки, вдавленные над дверцами,
в волнение выпрыгнут молодым...**

**Тебя приветствуют, как кровники,
ангелы утренней чистоты.
Из академиков выходят в дворники —
кому-то надо страну мести!**

1978

Прощание с Политехническим

Большой аудитории посвящая

**В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!**

**Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрецины!
Как нам мешчане мешали встретиться!**

**Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.**

**Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий как бог языческий
Твое Величество —
Политехнический!**

**Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «Ура».**

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.

Я вас — люблю!

Чему смеетесь? над чем всплакнете?
и что черкнете, косясь, в блокнотик?

что с вами, синий свитерок?
в глазах тревожный ветерок...

Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —

другие.

Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить не долго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,

Политехнический.

Невыносимо нам расставаться.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь

со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический —

моя Россия! —

ты очень бережен и добр, как бог,
лишь Маяковского не уберег.

Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,

но где б я ни был — в земле, на Ганге —
ко мне прислушивается

магически

гудящей

раковиною

гиганта

ухо

Политехнического!

1962

Пожар в Архитектурном институте

**Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар! Пожар!**

**По сонному фасаду
бесстыже, озорно
гориллой краснозодою
взвывается окно!**

**А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!**

**Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.**

**Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! Горим!**

**Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райкомы в рококо!**

**О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.**

**Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелиц.
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.**

**А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иголочка от циркуля
из горсточки золы...**

**...Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все — кончено!
Все — начато!**

Айда в кино!

1957 г.

Гойя

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал враг,
слетая на поле нагое.

Я — Горе.

**Я — голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года.**

Я — голод.

Я — горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой...

Я — Гойя!

**О грозди
возмездья! Взви́л залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!**

**И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —
как гвозди.**

Я — Гойя.

1957

А
К
С
И
О
М
А
А
М
О
И
С
К
А
А
К
С
И
О
М
А
С
А
М
О
И
С
К
А

Деревянная
вода

Романс

Запомни этот миг. И молодой шиповник.

И на Твоем плече прививку от него.

Я — вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.

И — больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,

а через тыщу лет и более того

Ты вскрикнешь, и в Тебя царапнется шиповник...

И — больше ничего.

1975

+ + +

**Не придумано истинней мига,
чем раскрытые наугад —
недочитанные, как книга,—
разметавшись, любовники спят.**

1972

Поэхо

**Тютчев прорастил
мыслящий тростник.
Я бы уточнил —
мыслящий инстинкт.
Эхо погрузит —
мыслящий транзит.**

Автомат

**Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой...**

**Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..
Отбой...**

**Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...**

**А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой...**

**А может, это совесть,
Потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой...**

**Стоишь в метро конечной
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замерзнул пальчик твой.**

А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьется, как флажок...

Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.

1971

+ + +

**Приди! Чтоб снова снег слепил,
чтобы желтела на опушке,
как александровский амбир,
твоя дубленочка с опушкой.**

1972

Художник и модель

**Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.**

**Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.**

**Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.**

1973

Яблокопад

Я посетил художника после кончины
вместе с попутной местной чертовкой.
Комнаты были пустынные, как рамы,
что без картины.
Но из одной доносился Чайковский.

Припоминая пустые залы,
с гостьей высокой в афроприческе,
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.

Женщина в кресле сидела за дверью.
40 портретов ее окружали.
Мысль, что предшествовала творенью,
сделала знак, чтобы мы не мешали.

Как напряженна работа натурщицы!
Мольберты трудились над ней на треногах.
Я узнавал в их все новых конструкциях
характер мятущийся и одинокий —

то гвоздь, то три глаза, то штык трофейный,
как он любил ее в это время!
Не находила удовлетворенья
мысль, что предшествовала творенью.

Над батареею отопления
крутился Чайковский, трактуемый Геной
Рождественским. Шар умолял его в небо
выпустить. В небе гроза набрякла.
Туча пахла, как мешок с яблоками.

Это уже ощущалось всеми:
будто проветривали помещение —
мысль, что предшествовала творенью,
страсть, что предшествовала творенью,
тоска, предшествующая творенью,
шатала строения и деревья!

Мысль в виде женщины в кресле сидела.
Была улыбка — не было тела.
Мысль о собаке лизала колени.
Мыслью о море стояла аллея.
Мысль о стремянке, волнуя, белела —
в ней перекладина, что отсутствовала,
мыслью о ребре присутствовала.

Съезжалось общество потребления
Мысль о яблоке катилась с тарелки.
Мысль о тебе стояла на тумбочке.
«Как он любил ее!» — я подумал.
«Да», — ответила из передней
недоуменная тьма творенья.

Вот предыстория их отношений.
Вышла студенткой. Лет было мало.
Гения возраст — в том, что он гений.
Верила, стало быть, понимала.
Как он ревнует ее, отошедши!
Попробуйте душ принять в его ванной —
душ принимает его очертанья.
Роман их длится не для посторонних.

Переворачивался двусторонний
Чайковский. В мелодии были стоны
антоновских яблонь. Как мысль о создателе,
осень стояла. Дом конопатили.

Шар об известку терся щекою.
Мысль обо мне заводила Чайковского,
по старой памяти, над парниками.

Он ставил его в шестьдесят четвертом.
Гости в это не проникали.
«Все оправдалось, мэтр полуголый,
что вы сулили мне в стенах шершавых
гневным затмением лысого шара,
локтями черными треугольников».

Море сомнительное манило.
Сохла сомнительная малина.
Только одно не имело сомненья —
мысль о бессмысленности творенья.

Цвела на террасе мысль о терновнике.
Благодарю вас, мэтр современный!
Что же есть я? Оговорка мысли?
Грифель, который тряпкою смыли?
Я не просил, чтоб меня творили!
Но заглушал мою говорильню
смысл совершаемого творенья —
ссылка на Бога была б трафаретной —
Материя. Сад. Чайковский, наверное.

Яблоки падали. Плакали лабухи.
Яблок было — гребни лопатой!
Я на коленях брал эти яблоки
яблокопада, яблокопада.
Я сбросил рубаху. По голым лопаткам
дубасили, как кулаки прохладные.
Я хохотал под яблокопадом.
Не было яблонь — яблоки падали.
Связал рукавами рубаху казнимую.
Набил плодами ее, как корзину.
Была тяжела, шевелилась, пахла.
Я ахнул —
сидела женщина в мужской рубахе.

Тебя я создал из падших яблок,
из праха — великую, беспризорную!
Под правым белком, косящим набок,
прилипла родинка темным зернышком.
Был я соавтором сотворенья.

Из снежных яблок так во дворе мы
бабу слепляем. Так на коленях
любимых лепим. Хозяйке дома
тебя представил я гостьей якобы.
Ты всем гостям раздавала яблоки.
И изъяснялась по-черноземному.

Стояла яблонная спасительница,
моя стеснительная сенсация.
Среди диванов глаза просили:
«Сенца бы!»
Откуда знать тебе, улыбавшейся,
в рубашке, словно в коротком платье,
что, забывшись, влюбишься, сбросишь
рубашку
и как шары по земле раскатишься!..

Над автобусной остановкой
туча пахла, как мешок с антоновкой.
Шар улетал. В мире было ветрено.
Прощай, нечаянное творенье!

Вы ночевали ли в даче создателя,
на одиночестве колких дерюжиц?
И проносилось в вашем сознании:
«Благодарю за то, что даруешь».

Благодарю тебя, автор творенья,
что я случился частью твоею,
моря и суши, сада в Тарусе,
благодарю за то, что даруешь,
что я не прожил мышкой-норушкой,
что не двурушничал с тобой, время,

даже когда ты мне даришь кукиш,
и за удары остервенелые,
даже за то, что дошли до ручки,
даже за это стихотворенье,
даже за то, что завтра задуеть,—
благодарю тебя, что даруешь
краткими яблоками коленей!
За гениальность твоих натурщиц,
за безымянность твоей идеи...

И повторяли уже в сновиденье:
«Боготворю за то, что даруешь».

В мир открывались ворота ночные.
Вы уезжали. Собаки выли.
Не посещайте художника после кончины,
а навещайте, пока вы живы.

1981

Мулатка

Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы,
над черною астрой с прическою «афро»,
что в баре уснула, повиснув на друге,
и стало ей плохо на все его брюки.

Он нес ее, спящую, в туалеты.
Он думал: «Нет твари отравнее этой!»
На кафеле корчилося и темнело
налитое сном виноградное тело.

«О, освободись!.. Я стою на коленях,
целую плечо твое в мокром батисте.
Отдай мне свое естество откровенно,
освободись же, освободись же

от яви, что мутит, от тайны, что мучит,
от музыки, рвущейся сверху бесстыже,
от жизни, промчавшейся и неминучей,
освободись же, освободись же,

освободись, непробудная женщина,
тебя омываю, как детство и роды,
ты, может, единственное естественное —
поступок свободы и годы заботы,

в колечках прически вода западает,
как в черных оправках напрасные линзы,
подарок мой лишний, напрасный подарок,
освободись же, освободись же,

освободи мои годы от скверны,
что пострашней, чем животная жижа,
в клоаке подземной, спящей царевной,
освободи же, освободи же...»

Несло разговорами пошлыми с лестницы.
И не было тела светлей и роднее,
чем эта под кран наклоненная шея
с прилипшим мерцающим полумесяцем.

1979

Старый Новый год

**С первого по тринадцатое
нашего января
сами собой набираются
старые номера
сняли иллюминацию
но не зажгли свечей
с первого по тринадцатое
жены не ждут мужей
с первого по тринадцатое
пропасть между времен
вытри рюмашки насухо
выключи телефон
дома как в парикмахерской
много сухой иглы
простыни перетряхиваются
не подмести полы
Вместо метро «Вернадского»
кружатся деревья
сценою императорской
кружится Павлова
с первого по тринадцатое**

**только в России празднуют
эти двенадцать дней
как интервал в ненастиях
через двенадцать лет
вьюгою патриаршею
позамело капот
в новом непотерявшееся
старое настает
будто ренатриация**

я закопал шампанское
под снегопад в саду
выйду с тобой с опаскою
вдруг его не найду
нас обвенчает наскоро
белая коронация
с первого по тринадцатое
с первого по тринадцатое.

1975

+ + +

Был бы я крестным ходом,
я от каждого храма
по городу ежегодно
нес бы пустую раму.

И вызывали б слезы
и попадали б в раму
то святая береза,
то реки панорама.

Вбежала бы в позолоту
женщина, со свиданья
опаздывающая на работу,
не знающая, что святая.

Левая сторона улицы
видела б святую правую.
А та, в золотой оправе,
глядя на нее, плакала бы.

1980

Фиалки

А. Райкину

Боги имеют хобби,
бык подкатил к Европе.
Пару веков спустя
голубь родил Христа.
Кто же сейчас в утробе?

Молится Фишер Бобби.
Вертинские вяжут (обе).
У Джоконды улыбка портнишки,
чтоб булавки во рту сжимать.
Любитель гвоздик и флоксов
в Майданеке сжег полглобуса.
Ниций любит сберкнижки
коллекционировать!
Миров — как песчинок в Гоби!
Как ни крути умишком,
мы видим лишь божьи хобби,
нам Главного не познать.

Боги имеют слабости.
Славный хочет бесславности.
Бесславный хлопочет: «Ой бы,
мне бы такое хобби!»

Боги желают кесарева,
кесарю нужно богово.
Бунтарь в министерском кресле,
монашка зубрит Набокова.
А вера в руках у бойкого.

Боги имеют баки —
висят на башке пускай,
как ручка под верхним баком,
воду чтобы спускать.
Не дергайте их, однако.

**Но что-то ведь есть в основе?
Зачем в золотом ознобе
ниспосланное с высот
аистовое хобби
женскую душу жмет?**

**У бога ответов много,
но главный: «Идите к богу!»**

**...Боги имеют хобби —
уставши миры вращать,
с лейкой, в садовой робе
фиалки выращивать!**

**А фиалки имеют хобби
выращивать в людях грусть.
Мужчины стыдятся скорби,
поэтому отшучусь.**

«Зачем вас распяли, дядя?!»
«Чтоб в прятки водить, дитя.
Люблю сквозь ладонь подглядывать
в дырочку от гвоздя».

1972

Никогда

(на мотив В. Смита)

**Я тебя разлюблю и забуду,
когда в пятницу будет среда,
когда вырастут розы повсюду,
голубые, как яйца дрозда.**

**Когда мышь прокричит «кукареку».
Когда дом постоит на трубе,
когда съест колбаса человека
и когда я женюсь на тебе.**

1978

Женщина перед зеркалом

(на мотив В. Смита)

Ты все причесываешься в ванной,
все причесываешься.
Все пирамиды, сфинксы все изваяны,
ты все причесываешься,
гусиные вернулись караваны,
Шехерезады выдохлись и Чосеры,
ты все причесываешься.
Ты чешешь свои длинные, медвяные,
окутываешь в золото плечо свое,
с пушком туманным тело абрикосовое,
ты все причесываешься.

Свежайшие батоны стали черствыми,
все розы распустившиеся свянули,
устали толкователи Евангеля,
насытились все властью облеченные,
отмучились на муки обреченные,
повысохли в морях русалки вяленые,
все тайны мироздания — при чем они?
Ты с Вечностью ведешь соревнование.
Ты все причесываешься.
Четвертый час заждался на диване я,
осточертела поза мне печоринская,
паркет истлел от пепла папиросного,
я ногу отлежал, да и все прочее,
как говорится, положение «сосовое», —
ты все причесываешься.
Все в ресторанах съедены анчоусы,

Размолвка

**Это ни на что не похоже!
Ты топчешь сапожками пальто.
Ты не похожа не бешеную кошку.
Ты не похожа ни на что.**

**Твоя нежность не похожа на нежность.
Ты швыряешь чашки на пол, на стол.
Ты не похожа на безрукую Венеру.
Ты не похожа ни на что!**

**За это без укоризны,
и несмотря на то,
зову тебя своей жизнью.
Все не похоже ни на что.**

**Брат не похож на брата,
боль не похожа на боль.
Час отличается от часа.
Он отличается тобой.**

**Море ни на что не похоже.
Дождь не похож на решето.
Ты все продолжаешь? Боже!
Ты не похожа ни на что.**

**Ни на что не похожа тишина свободы.
Вода не похожа на горячую кожу щек.**

Полотенце не похоже
на стекающую
со щек воду.
И совсем не похож на неволю
накинутый на дверь крючок.

1980

Фары дальнего света

**Если жизнь облыжная вас не дарит дланями —
помогите ближнему, помогите дальнему!**

**Помогите встречному, все равно чем именно.
Подвезите женщину — не скажите имени.**

**Не ищите в Библии утешенья книжного
Отомстите гибели — помогите ближнему.**

**В жизни чувства сближены, будто сучья яблони,
покачаешь нижние — отзовутся дальние.**

**Пусть навстречу женщине, что вам грусть
улыбнутся ближние, улыбнутся дальние.** доставила,

**У души обиженной есть отрада тайная:
как чему-то ближнему, улыбнуться —
дальнему...**

1977

Ее повесть

**— Я медлила, включивши зажиганье.
Куда поехать? Ночь была шикарна.
Дрожал капот, как нервная борзая.
Дрожало тело. Ночь зажгла вокзалы.
Все нетерпенье возраста Бальзака
меня сквозь кожу пузырьками жгло —
шампанский возраст с примесью бальзама!**

Я опустила левое стекло.

**И подошли два юные Делона —
в манто из норки, шеи оголенны.
«Свободны, мисс? Расслабиться не прочь?
Пятьсот за вечер, тысячу — за ночь».**

**Я вспыхнула. Меня, как проститутку,
восприняли! А сердце билось жутко:
тебя хотят, ты — блядь, ты молода!
Я возмутилась. Я сказала: «Да».**

**Другой добавил, бедрами покачивая,
потупив голубую непорочь:
«Вдруг есть подруга, как и вы — богачка?
Беру я также — тысячу за ночь».**

**Ах, сволочи! продажные исчадья!
Обдав их газом, я умчалась прочь.
А сердце билось от тоски и счастья!
«Пятьсот за вечер, тысячу — за ночь».**

+ + +

В. Шкловскому

**Жил художник в нужде и гордыне.
Но однажды явилась звезда.
Он задумал такую картину,
чтоб висела она без гвоздя.**

**Он менял за квартирой квартиру,
стали пищею хлеб и вода.
Жил, как йог, заклиная картину.
Она падала без гвоздя.**

**Стали краски волшебнo-магнитны,
примерзали к ним люди, входя.
Но стена не хотела молитвы
без гвоздя.**

**Обращался он к стенке бетонной:
«Дай возьму твои боли в себя.
На моих неумелых ладонях
проступают следы от гвоздя».**

**Умер он, изможденный профессией.
Усмехнулась скотина-звезда.
И картину его не повесят.
Но картина висит без гвоздя.**

1975

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венок Вы на темя
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда
от изуверов свершали побег.
Свернуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы господни
над катастрофою мировой —
в трубочку свернутые полотна
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле прищипорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

**Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.**

1973

Безотчетное

**Изменяйте дьяволу, изменяйте черту,
но не изменяйте чувству безотчетному!**

**Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо,
тайное отечество безотчетное.**

**Женщина замешана в нем темноочевая,
ты — мое отечество безотчетное!**

**Гуси ль быстротечные вытянут отточие —
это безотчетное, это безотчетное,**

**осень ли настояща на лесной рябине,
женщины ль постукают четками грибными,**

**иль перо обронит птица неученая —
как письмо в отечество безотчетное...**

**Шинами обуетесь, мантией почетною —
только не обучитесь безотчетному.**

**Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начинается безотчетное.**

**Это безотчетное, безотчетное
над рискованной пропастью вам пройти
нашептывает...**

Когда черти с хохотом
вас подвешат за ноги,
«Что еще вам хочется?» — спросят вас под
занавес.

— Дайте света белого,
дайте хлеба черного
и еще отечество безотчетное!

1979

+ + +

**Ты молилась ли на ночь, береза?
Вы молились ли на ночь,
запрокинутые озера
Сенеж, Свистязь и Нарочь?**

**Вы молились ли на ночь, соборы
Покрова и Успенья?
Покурю у забора.
Надо, чтобы успели.**

**На лугах, что скосили,
запах автомобилей...
Ты молилась, Россия?
Как тебя мы любили!**

1972

Уездная хроника

Мы с другом шли. За вывескою «Хлеб»
ущелье дуло, как депо судеб.

Нас обступал сиропный городок.
Мой друг хромал. И пузыри земли,
я уточнил бы — пузыри асфальта,—
нам попадаясь, клянчили на банку.

«Ты помнишь Анечку-официантку?»

Я помнил. Удивленная лазурь
ее меж подавальщиц отличала.
Носила косу, говорят, свою.
Когда б не глаз цыганские фиалки,
ее бы мог писать Венецианов.

Спешила к сыну с сумками, полна
такою темно-золотою силой,
что женщины при приближеньи Аньки
мужей хватали, как при крике «Танки!»
Но иногда на зов: «Официантка!» —
она душою оцепеневала,
как бы иные слыша позывные,
и, вострепнувшись, шла: «Спешу! Спешу!»

Я помнил Анечку-официантку,
что не меня, а друга целовала,
подружку вызывала, фарцевала
и в деревянном домике жила
(как раньше вся Россия, без удобств).

Спешила вечно к сыну. Сын однажды
ее встречал. На нас комплексовал.
К ней, как вьюнок белесый, присосался.
Потом из кухни в зеркало следил
и делал вид, что учит «Песнь о Данко».

«Ты помнишь Анечку-официантку?
Ее убил из-за валюты сын.
Одна коса от Анечки осталась».

Так вот куда ты, милая, спешила!

«Он бил ее в постели, молотком,
вьюночек, малолетний сутенер,—
у друга на ветру блеснули зубы.—
Ее ассенизаторы нашли.
Ее нога отсасывать мешала.
Был труп утоплен в яме выгребной,
как грешница в аду. Старик, Шекспир...»

Она летела над ночной землей.
Она кричала: «Мальчик потерялся!»
Заглядывала форточкой в дома.
«Невинен он,— кричала,— я сама
ударилась! Сметана в холодильнике.
Проголодался? Мальчика не вижу!» —
И безнадежно отжимала жижу.

И с круглым люком мерзкая доска
скользила нимбом, как доска иконы.
Нет низкого для божьей чистоты!

«Ее пришел весь город хоронить.
Гадали — кто? Его подозревали.
Ему сказали: «Поцелуй хоть мать».
Он отказался. Тут и раскололи.
Но не назвал сообщников, дебил».
Сказал я другу: «Это ты убил».

Ты утонула в наших головах
меж новостей и скучных анекдотов.
Не существует рая или ада.

Ты стала мыслью. Кто же ты теперь
в той новой, ирреальной иерархии —
клочок Ничто? тычиночка тоски?
приливы беспокойства пред туманом?
Куда спешишь, гонимая причиной,
необъяснимой нам? зовешь куда?

Прости, что без нужды тебя тревожу.
В том океане, где отсчета нет,
ты вряд ли помнишь 30—40 лет,
субстанцию людей провинциальных
и на кольцо свои инициалы?

Но вдруг ты смутно вспомнишь зовы эти
и на мгновение оцепеневаешь,
расслышав фразу на одной планете:
«Ты помнишь Анечку-официантку?»

Гуляет ветер судеб, судебный ветер.

1977

Заповедь

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданное брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волшебба!
Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

**Ибо права не вражда, а волиба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».**

1972

Вестница

Я к вечеру шестого мая
в глухом кукушкином лесу
шел, просекою подымаясь,
к электротягам на весу.

Как вдруг,
спланировав на провод,
вольна причудой неземной,
она, серебряная в профиль,
закуковала надо мной.

На расстояние метров сорок,
капризница моих тревог,
вздымала ювелирно зорко
свой беззаботнейший зобок.

Судьбы прицепка бельевая,
она причиною годов
нечаянно повелевала.
От них качался проводок.

И я стоял, дурак счастливый,
под драгоценным эхом их.
Я был отсчитывать не в силах.
Не важно сколько — но каких!

О Боже,— думал,— как жемчужно
ниспосланы наверняка —
необъяснимая пичужка,
нежданные твои века!

1983

Осень в Сигулде

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,
из стен, матерей и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,
друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я ухожу из вас,

о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побывать бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретилась, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...

из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неуютен?
ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

**спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,**

**но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...**

Спасите!

1961

Тишины!

Тишины хочу, тишины!..
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно шалость.
вдоль спины, до мизинца ступни.

Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?

Тишины...

**Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы поймем, что идут чабаны.**

**Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.**

**И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки.**

1963

+ + +

Ну, что же, примем аксиому века
и попытаем аксиому счастья.
Счастливая улыбка Моны Лизы,
познавшая загадку монорельсы.

Масличная гора

**Вдыхаю на твоей вершине
волю твою, Господи.
Гляжу закат людей, закат Ерусалима —
воля твоя, Господи.**

**Плывет за мегафоном муэдзина
эхо Поленова с Михоэлсом...
Скажите мне, семь гор Ерусалима,
что сбудется с московским семихолмием?**

**Минуй нас, гибельная доля,
и чаша пропасти!..
Вся жизнь моя — стремленье к воле.
К воле твоей, Господи.**

25 октября

+ + +

Гора решенья. И гора страдания.
И за спиной Восток.
Сквозь гору проступает тайная
цепочка из крестов.

Он там пятнадцать остановок сделает,
припав к камням,
как поцелуи осыпают тело
от уст к устам.

Он на гору размяться выйдет.
И над второй горой
он словно в зеркале увидит
крест теневой.

И в спину бьющее светило,
на облако отбросив тень,
Его на небо пригвоздило.
Так по сей день:

«Петр отречется.
Страшной дисциплиною
я форму крестную приму.
От рук моих светящиеся линии
продлятся в космос и на Колыму.

Ученики,
к чему рыдания?
Я так решил.
Не отойти.
Рейшина моего страдания
прочертит
человечеству
пути».

25 октября

Голгофа

**Столб торчит из горы,
как в клубке спица.
Прорвалась ось Земли!
Воют псы.**

**Длится боль.
Меняются очевидцы.
Человек распят
на земной оси.**

Голгофа 25 октября

Листы Его сада

**Когда домой я по небу вернулся,
карман нагрудный расстегнул я хрупко.
Три листика масличные свернулись
в продольные серебряные трубки.**

**Будто, гадая, в шапку положили
бумажки свернутые. Жуть.
Записки с гефсиманскими прожилками.
Сладко и страшно развернуть!**

28 октября 1989

Масличная ветвь

На склоне
лет земных
гляжу с горы Масличной.

Это я, Господи!

Петуший крик
стал куполом яичным,
это Ты, Господи.

Облаянный,
в парах бензина —
это я, Господи.

В кофейных парусах
Ерусалима —
это Ты, Господи.
Отцовский голос слышу
над долиной.

И чаша пропасти
неотвратима —
это Ты, Господи.

Я выполнил, Отец,
твою программу
Но сколько во мне теплого
и костного...

Я мёл душою,
как метлой поганой.

Прими, Господи,
социалистического
пилигрима.

Это мы, Господи,
с моим народом
веру погребли мы,
и сорим в космосе.

На склоне лет земных гляжу с горы Масличной — это ты, Господи!

Маслины
слепли от машины.
И куполами
в сумерках круглы
объятья русской Магдалины
сомкнулись
над коленями горы.

И страшный путь
шел в небо прогибаясь,
как ванты Крымского моста.
И въелась в камни, спотыкаясь,
тень от креста.
Путь жизни близок
к высшей точке.
И листики маслин,
размером точно в эти строчки.
записывали за ним.

Я — ветка Божья
северной долины,
где избы горбятся.
Присутствие любви
неодолимой —
это Ты, Господи.

Где ошибался, волком жил
с волками —
это я, Господи.
Все что я спел
от «а до я» стихами —
это Ты, Господи.

Иерусалим
Масличная гора
26 октября 1989 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АВТООТВЕТЧИК

Литургия лет	7
Для всех — вне звезд...	9
Комендантский час	10
«Не возникай...»	12
Ипатьевская баллада	13
«Когда я когда-нибудь сдохну...»	14
Ответ на записку	15
После сигнала	16
Прощание с микрофоном	18
«Ты мне никогда не снишься...»	20
Аксиома стрекозы	21
«Тебе на локоть села стрекоза...»	26
«Читаю небо...»	27
Из жизни крестиков	28
Приснись, ресничка	35
Родословная крестиков	44
Пост	50
«Не поняли евангелисты...»	51
Литовские мотивы	52
«Прости мне, Юстинас...»	53
Первая любовь	54
Бриллиантовая легенда	55
«Моей жизни часть эмигрировала...»	57
«Бы мне написали левой...»	58
Барнальская булла	59
Ответ министру	65
На маяке	66
Совет	68
Дозренье	70
Оглянись вперед	71
Видеопозма	72
Май камай	76
Раскладное зеркальце	80
«таша говорю я на...»	81
Кукурьеза	82
13 строк	83
Сороковой день	84
15.IV.89	86
«Мы шли сквозь облако...»	88
«Абхазия — как Ориноко...»	89
«Тенистый парк...»	90
Мой проект памятника жертвам репрессий	91
«Бросками кроля в темном море...»	92
«На ходиках с боем старинным...»	93
«Зеки шьют кресла...»	94
Ипподром	95
Игра в наперсток	96
Оппонентам	97
«Спи, родная...»	98
Струны перемен	99
Шоссе на Внуково	100

Мальвина	102
«Детел он от Земли наискосок...»	107
Идиллия	108
«Мы говорим о форпостах...»	109
«Когда душа метелями забита...»	110
В роддоме	111
«Наденьте белые рубахи...»	112
Портрет Хуциева	113
Демонстрация	115
«Крепит антенку бабка Агафья...»	117
Поле брани	118
Поезднок	120
Розивелет	121
Рембо перед зеркалом	122
Детство	123
Болтанка	124
Кризис популярности	125
Абсурдизм	126
«Я башня...»	127
«Я дерево вкопал...»	128
Терцины	130
«На проселочную глину...»	131
«В свое последнее рожденье...»	132
«Мозг умирает...»	133
Романс	134
«Кричала девочка багистовая...»	135
«Как ты кричишь...»	136
«Тень отбрасывает предмет...»	137
Гражданка	138
«Во время взлета...»	139
Рапсодия распада	141
ЭСКИЗЕНЦИАЛИЗМ	
Зуб разума, или Как я был ходоком к Хайдеггеру	151
Голубой зал с черным камнем	171
Хамящие Хамелеоны	181
Ах, министр, не пестицидьте!	191
Волшебное деревянное сердце виолончели	197
$\bar{A} = R$	202
Благовещизм поэта	213
Минута немолчания	226
СКУЛЬПТОР СВЕЧЕЙ	
«Над темной молчаливою державой...»	237
Хобби света	238
По мотивам Микеланджело	240
В непогоду	245
Деревянный зал	246
Скульптор свечей	248
Соп	250
Тарковский на воротах	251
Бой петухов	254
Братская помощь	256
Неизвестный — реквием в двух шагах, с эпилогом	257
«В полях безоглядных...»	260

Русские поэты	261
Кроны и корни	262
Школьник	264
Богоматерь-37	266
Не пишется	268
Тоска	270
«Когда я предаю бумаге...»	271
«В человеческом организме...»	272
Автопортрет	273
Свет друга	274
«Дорогие литсобратья!..»	275
«Пусть наше дело давно труба...»	276
Соп	277
Правила поведения за столом	279
Из поэмы «Андрей Полисадов»	280
Реквием оптимистический	281
Горный монастырь	284
Озеро	285
Муравей	287
Русско-американский романс	288
Звезда	289
Беловежская баллада	291
«Я — двоюродная жена...»	293
Ялтинская криминалистическая лаборатория	294
Скрытымным	296
Пиета	297
Инструкция	298
Монолог века	301
СООБЩАЮЩИЕ СОСУДЫ	
Апельсины, апельсины...	305
Таганка — антитюрьма	310
Всенародный Володя	317
Поэзия без нитратов	324
Ответ моему читателю	328
Кристалл и крест композитора	333
ОГЛЯНИСЬ ВПЕРЕД	
Георгию Адамовичу	339
«Стихи не пишутся...»	340
«Мама, кто там вверху...»	341
Вечер в «Обществе слепых»	342
Рублевское шоссе	344
Две песни	345
Замерли	348
Баллада яблоня	349
«Можно и не быть поэтом...»	351
Повесть	352
Морозный инподром	353
«Где Ваша могила...»	356
«Суздальская Богоматерь...»	357
«Ну почему он столько раз...»	358
Хулы и награды	359
Стрела в стене	360
«Отдай тетивка сыромятная...»	362

Бобровый плач	363
Баллада-диссертация	365
Из «Озы»	367
Гитара	375
Париж без рифм	376
«Сложи атлас, школярка шалая...»	380
«Неужто это будет все забыто...»	382
«Эх, Россия!...»	383
Футбольное	384
Кумир	386
Фрагмент автопортрета	388
«Кому на Руси жить плохо!»	390
НТР	392
Диалог	394
Ностальгия по настоящему	397
«Есть русская интеллигенция...»	399
Смерть Шукшина	401
Синий журнал	402
Не забудь	404
Пир	406
Песчаный человек	408
Голубой погубай	409
Зеленая обезьяна	410
Песенка Травести из спектакля «Антимирь»	413
Щенок по имени Авошь	414
Сирень «Москва — Варшава»	416
Ночной аэропорт в Нью-Йорке	418
Сначала	421
Гость из тысячелетий	423
Обстановочка	428
«Друг мой, мы зажились...»	431
Песня акына	432
Латышский эскиз	433
Охота на зайца	434
Рок	437
«Слоняюсь под Новосибирском...»	438
Лобная баллада	440
Похороны Гоголя Николая Васильича	442
Реквием	445
«Ну что тебе надо еще от меня?...»	447
Роща	448
Недописанная красавица	449
Е. W.	451
Грех	452
Порнография духа	454
«Напоили...»	456
Новогодние ралли-стоп	458
«Мы обручились временем с тобой...»	461
Общий пляж № 2	462
Ода одежде	465
Телеграмма	466
Водная лыжица	467
Водяные	469

Воздушные лыжи	471
Зомби забвенья	473
В тополях	476
Книжный бум	477
«Шел я вдоль русла...»	479
Время на ремонте	481
Соблазн	485
Баллада о двух	487
Из поэмы «РОВ»	489
Долг	491
Перед ремонтом	493
«Не отрекусь...»	495
Гаяна	496
Люмпен-интеллигенция	497
Прощание с Политехническим	499
Пожар в Архитектурном институте	502
Гойя	504
ДЕРЕВЯННАЯ ВОДА	
Романс	507
«Не придумано истинней мига...»	508
Поэхо	509
Автомат	510
«Приди!..»	512
Художник и модель	513
Яблокопад	514
Мулатка	519
Старый Новый год	521
«Был бы я крестным ходом...»	523
Фиалки	524
Никогда	526
Женщина перед зеркалом	527
Размолвка	529
Фары дальнего света	531
Ее повесть	532
«Жил художник в нужде и гордыне...»	533
Васильки Шагала	534
Безотчетное	537
«Ты молилась ли на ночь, береза?..»	539
Уездная хроника	540
Заповедь	543
Вестница	545
Осень в Сигулде	546
Тишины!	549
«Ну, что же, примем аксиому века...»	551
Масличная гора	552
«Гора решенья...»	553
Голгофа	554
Листы Его сада	555
Масличная ветвь	556

«Аксиома самоиска» — авторское избранное поэта Андрея Вознесенского. В него вошли стихи и проза последнего времени, а также произведения прошлых лет. Некоторые произведения восстановлены в правах только сейчас. Составителем впервые в книгу включена фотодокументалистика.

Вознесенский Андрей Андреевич

АКСИОМА САМОИСКА

Редактор-составитель А.П. Ткаченко

Художник С.Ю. Веретенников

Художественный редактор Г.П. Храмцова

Технический редактор К.И. Заботина

Сдано в набор 01.09.89. Подписано в печать 10.01.90

Формат 70х108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Эксельсиор

Печать офсетная. Усл.печ.л. 24,5 + 1,5 вкл. Усл.кр.-отг. 26,2

Уч.-изд. л. 26,0. Тираж 200 000 экз. (3-й з-д 100 001—200 000 экз.)

Цена 5 р. 90 к. Заказ 42

Совместное советско-финское предприятие "ИКПА"

103050, г. Москва, ул. Горького, 23

Фотонабор осуществлен в типографии им. В.И. Ленина

издательства ЦК КПСС "Правда"

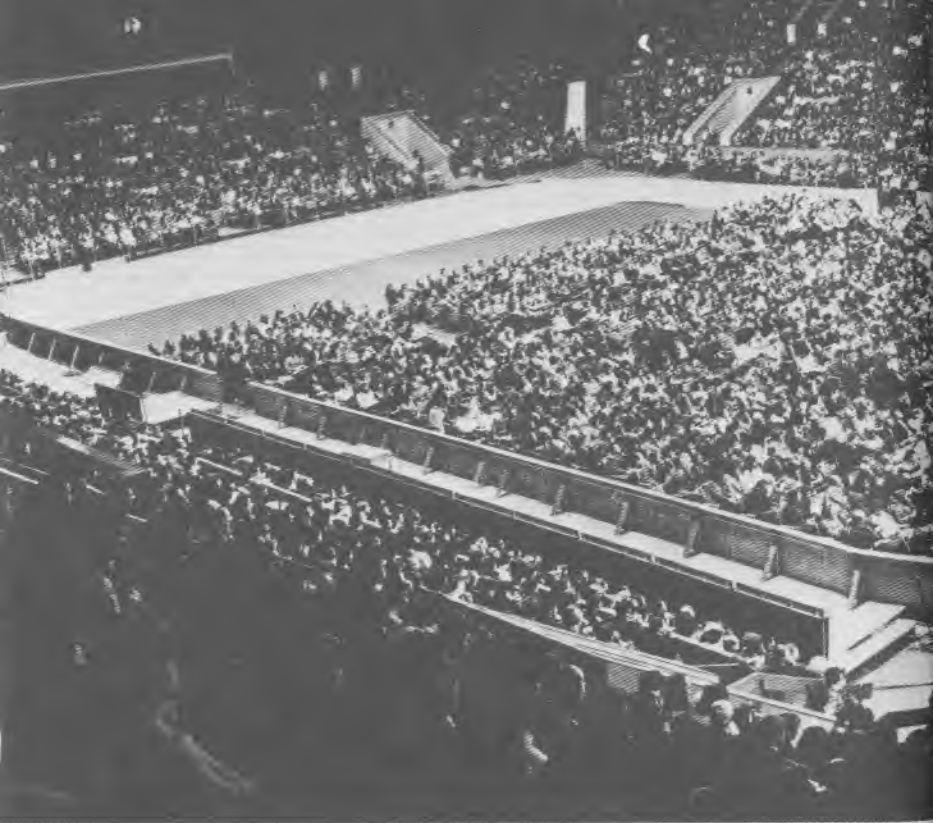
125 865, ГСП, г. Москва, А—137, ул. "Правды", 24

Отпечатано с диапозитивов

в Тульской типографии Госкомпечати СССР

300600, ГСП, г. Тула, просп. Ленина, 109

Фотোগрафии
1940-1989 г. г.





Андреевская
Семья





























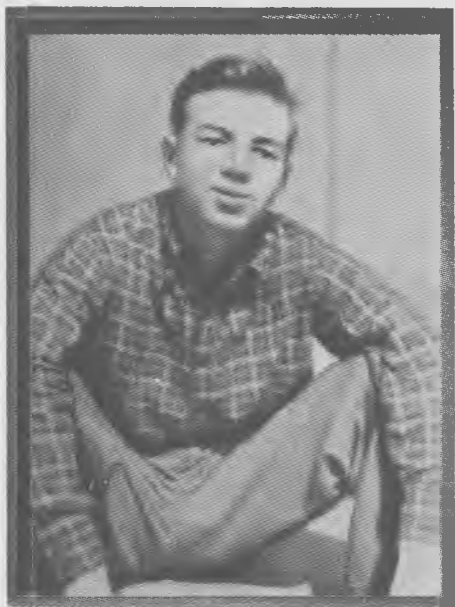














ECHO WHEN
TECHO MHE

RAUSCHUNTO 78



16

17





ЗДЕСЬ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ ПТИЧЬИХ
НА УТРЕННИХ ПЕРНАХ ЛЕЖАТ
КАК ТРЕУГОЛЬНИКИ ДЕВИЧЬИ
ОТ ИСПАВЛЯЮЩЕГО НАДО

1911. 10. 10. 1911. 10. 10.

1911. 10. 10. 1911. 10. 10.







20

21





Я не знаю как описать
Но я люблю ~~невозможно~~
Не понимаю Непонятно
А потому не Непонятно



24

25











И хана мнѣхъхотѣхъ врозѣхъ
ириотѣхъхотѣхъ мнѣхъ
Совѣрѣхъ: идиотѣхъхотѣхъ
вхотѣхъхотѣхъхотѣхъхотѣхъхотѣхъ



- ① Лужники — 1972 г.
- ② Б. Л. Пастернак на даче в Переделкино. Слева направо: Анджей Монда-лиан, З. Шаталова, Е. К. Ливанова, А. Вознесенский, Ежи Брошкевич.
- ③ В. П. Некрасов в Париже. Февраль 1963 г.
- ④ ⑤ Встреча руководителей партии и правительства с интеллигенцией 7—8 марта 1963 г., Свердловский зал Кремля.
- ⑥ В кабинете Хайдеггера. 1967 г.
- ⑦ Роберт Лоуэлл перед вечером поэзии в Библиотеке Конгресса. Вашин-гтон, 1966 г.
- ⑧ Премьера спектакля «Берегите ваши лица» на Таганке. Конец 60-х.
- ⑨ Сцена из спектакля. В главной роли — В. Высоцкий.
- ⑩ Ж. П. Сартр и Л. Зонина на обсуждении «Треугольной груши» в москов-ской библиотеке. 1964 г.
- ⑪ Любимов и Градский на вечере поэзии Б. Пастернака. ЦДЛ, 1989 г.
- ⑫ Высоцкий, сыгравший 50 спектаклей «Антимиры»
- ⑬ По приглашению Р. Кеннеди в 1967 г.
- ⑭ «Мне 14 лет...». С отцом и сестрой. 1940 г.
- ⑮ Автолитографии из серии, созданной в соавторстве с Р. Раушенбергом. 1978 г.
- ⑯ Боб Дилан в Переделкино. 1985 г.
- ⑰ Ж. Кеннеди-Онассис на опере «Юнона и Авось». Нью-Йорк 1990 г.
- ⑱ А. Вознесенский — Р. Раушенберг. 1978 г.
- ⑲ Зал Чайковского. 1974 г.
- ⑳ Трассы Тундры. 1975 г.
- ㉑ Скульптор З. К. Церетели на открытии монумента русско-грузинской культуры на Б. Грузинской в Москве. 1984 г.
- ㉒ Автопортрет. Середина 50-х г.
- ㉓ А. Вознесенский — Р. Раушенберг. 1978 г.
- ㉔ Профессор Фредерик Старр на церемонии присуждения докторской степени. Оберлинский университет. 1986 г.
- ㉕ Овальный кабинет Белого дома. Лето 1986 г.
- ㉖ На земле Белоруссии. «Летающий мужик» В. Л. Бедуля.
- ㉗ На встрече с читателями. 1975 г.
- ㉘ 10 км феодосийского шоссе под Симферополем. Ров. На месте осквер-ненного захоронения жертв геноцида. Крайний справа А. Ткаченко. Апрель 1986 г.

